Далекие зимние вечера. Рассказы. Василий Макарович Шукшин shukshinvasiliy.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://shukshinvasiliy.ru/ Приятного чтения!

Далекие зимние вечера. Рассказы. Василий Макарович Шукшин

ПЛЕМЯННИК ГЛАВБУХА

Совещание было коротким.

- Хватит миндальничать! - сказал дядя. - Дальше еще хуже будет. Завтра он поедет ко мне и будет учиться на счетовода. Специальность не хуже всякой.

Мать всплакнула было, но скоро успокоилась и, поглядывая на закрытую дверь горницы, стала негромко и жалко просить брата:

- Помоги, Егорушка! Я больше не могу ничего сделать. Учиться не хочет, хулиганит… На днях соседской свинье глаз выбил. Я уж просила доктора - доктор сосед-то, - чтобы он не жаловался никуда. Свинья-то теперь боком ходит.

Дядя нахмурился и покачал головой.

- Уж ты будь ему заместо отца родного. Жив был бы Игнат - разве так все было… - Мать опять всплакнула.

- Ладно, ладно, - сказал дядя, - чего там!.. Сделаем.

… В горнице сидел подросток лет тринадцати-четырнадцати, худой, лобастый, с голубыми девичьими глазами - Витька. Катал по столу бильярдный шар и недовольно сопел. Решалась его судьба.

В горницу вошел дядя и объявил:

- Поедешь завтра со мной!

- Куда это?

- В Кондратьеве. Будешь учиться на счетовода.

Витька искренне удивился.

- Какой же из меня счетовод? Вы что?

- Ничего-о, я с тобой сам теперь займусь. Вот так.

Дядя вышел.

Витька спрятал в карман шарик, открыл окно, вылез на улицу и, пригибаясь под окнами, пошел прочь со двора.

… Дядя догнал его на коне за поскотиной.

Витька, завидев всадника, нырнул в придорожный черемушник и затих. Дядя остановился как раз против того куста, под которым затаился Витька. Негромко приказал:

- Вылазь!

Витька ни гуту.

- Я ведь знаю, что ты здесь. Бегать еще не умеешь: кто же прячется возле дороги?

Витька вышел. Потер ушибленное колено.

- Где же еще спрячешься? Чистое поле кругом.

- Пошли, - сказал дядя беззлобно. - Ну и осел же ты, Витька! Даже удивительно.

Витька шагал рядом с мордой лошади. Молчал.

- Куда бы ты побежал, интересно?

Витька сплюнул на дорогу, сунул руки в карманы и посмотрел далеко-далеко - на закат. Ему не хотелось об этом говорить.

- Характер! Эх, отца бы тебе сейчас!.. Ну ничего!

Долго молчали.

В воздухе заметно посвежело. Пыль на дороге стала холодной.

- Чего тебе в жизни надо, Витька?

Молчание.

- Почему ты не учишься, как все люди?

Опять молчание.

- Работать хочешь?

- Хочу.

- Кем? Конюхом?

- Необязательно конюхом…

Дядя тоже сплюнул на дорогу и замолчал.

- Сопляк, - сказал он через некоторое время.

Витька посмотрел на него снизу чистыми честными глазами и отвернулся.

- У нас в родне все в люди вышли, авторитетом пользуются, а ты… Вот осел-то! - громко возмутился дядя. - Ты думаешь, конюхом - хитрое дело? Это ведь кому уж деваться некуда, тот в конюхи-то идет. Голова садовая! Ну ничего! Я возьмусь за тебя.

Витьку посадили за большой стол рядом с толстой девушкой, которую все называли Лидок.

Лидок внимательно посмотрела на Витьку… И вздохнула:

- Надо же, такие глаза и парню достались.

Витьке это почему-то не понравилось. Вообще все тут ему не понравилось. Контора была большая и бестолковая, как показалось Витьке. Много шумели, спорили и, главное, целыми днями сидели на месте. Дядя Витькин, главбух объединенного колхоза, занимал отдельный кабинет. Время от времени он, озабоченный, выходил оттуда и требовал у какой-нибудь из девушек «балансовый отчет» или «платежную ведомость». И внимательно и строго смотрел на Витьку.

Девушек в конторе было четыре. Все, как одна, скучные и глупенькие. Когда никого не было, они сплетничали о парнях и смеялись. Очень много смеялись. И без конца ели конфеты. Витька презирал их. Но больше всех он невзлюбил Лидок.

- Ты таблицу умножения знаешь, конечно?

- Знаю, конечно.

- Перемножь вот эти цифры. Только не сбейся!

Витька умножал скучное число на число еще более скучное, получал скучнейший результат и подавал Лидок. Лидок сосала конфетку и проверяла на арифмометре Витькино вычисление.

- Пра-льно. Тренируйся больше.

- Ну и дура ты! - не выдержал Витька.

Лидок сделала большие глаза и перестала сосать конфетку.

- Ты что это?

- Кто же тут тренируется? Тренируются на турнике или в волейбол.

- Егор Васильевич! - позвала Лидок.

Из кабинета вышел дядя, строгий и озабоченный.

- Он на меня говорит «дура».

- Зайди ко мне.

Витька не без робости вошел к дяде в кабинет.

- Вот что, дорогой племянничек, - заговорил дядя, стоя посреди кабинета с бумажкой в руке, - если ты будешь тут язык распускать, я с тобой по-другому поговорю. Понял? Я тебе не мать. Понял?

- Понял.

- Вот так! Иди извинись перед девкой. Она в два раза старше тебя, сопляк. Не хватало еще с тобой тут возиться.

Витька вышел из кабинета, прошел на свое место.

Девушки щелкали на счетах и неодобрительно посматривали на него.

- Попало? - спросила Лидок.

Витька взял чистый лист бумаги… задумался, глянул на солидную Лидок и написал крупно, во весь лист: «ФИФЫЧКА».

И показал Лидок.

Лидок тихонько ахнула, посмотрела на дверь кабинета, потом взяла лист и тоже что-то написала. И показала Витьке.

«КОНЮХ» - было написано на листе.

Витька взял новый лист и написал: «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».

Лидок фыркнула, взяла новый лист и быстро написала: «ТЫ ЕЩЕ НЕ ДОРОС».

Витька долго думал, потом написал в ответ: «СВЕЖАСРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО ДУБ».

Лидок быстро нагнулась и выхватила лист у Витьки. И пошла с ним в кабинет.

Витька не долго раздумывая поднялся и пошел из конторы, осторожно прикрыв за собою дверь.

Близилась осень. Ее дыхание тронуло уже лес и поля. Листья на деревьях пожелтели. Трава поблекла, сухо шуршала под ногами.

Витька вышел за деревню, на косогор, сел и стал смотреть в степь.

День был серый, темное небо образовало над степью крышу. Под этой крышей было пасмурно, тепло и просторно. На западе сквозь тучи местами пробивалась заря. Ее неяркий светло-розовый отсвет делал общую картину еще печальней. Стал накрапывать мелкий-мелкий теплый дождик. Витька свернулся калачиком и лег. Земля была тоже теплая. Витьке сделалось очень грустно. Вспомнилась мать. Захотелось домой. Он вспомнил, как мать разговаривает с предметами - с дорогой, с дождиком,

с печкой… Когда они откуда-нибудь идут с Витькой уставшие, она просит: «Матушка-дороженька, помоги нашим ноженькам - приведи нас скорей домой». Или, если печка долго не разгорается, она выговаривает ей: «Ну, милая… ты уж сегодня совсем что-то… Барыня какая». Витька любил мать, но они, к сожалению, не понимали друг друга. Витьке нравилась жизнь вольная. Нравились большие сильные мужики, которые легко поднимали на плечо мешок муки. Очень хотелось быть таким же - ездить на мельницу перегонять косяки лошадей на дальние пастбища, в горы, спать в степи… А мать со слезами (вот еще не нравилось Витьке, что она часто плакала) умоляла его: «Учись ты ради Христа, учись, сынок! Ты видишь, какая теперь жизнь пошла: ученые шибко уж хорошо живут». Был у них сосед-врач Закревский Вадим Ильич, так этим врачом она все глаза протыкала Витьке: «Смотри, как живет человек». Витька ненавидел сытого врача и одно время подумывал, не поджечь ли его большой дом? Ограничился пока тем, что выбил его свинье левый глаз.

- Матушка-степь, помоги мне, пожалуйста, - попросил Витька, а в чем помочь, он точно не знал. Он хотел, чтобы его оставили в покое, хотел быть сейчас дома, хотел, чтобы Лидок не мучила его вычислениями. Стало легче оттого, что он попросил матушку-степь. Он незаметно заснул.

Разбудил его дядя.

Когда Витька проснулся, дядя стоял над ним и снимал с себя брезентовый плащ. Сеялся нехолодный мелкий дождь. Было уже темно.

- Замерз? - спросил дядя.

- Нет.

- Нет… - Дядя поднял Витьку и стал закутывать в плащ. Плащ громко шуршал, а дождик тихонько шумел. - Ох, Витька, Витька… обормот ты мой!.. - Дядя взял Витьку в охапку и понес. Тут только увидел Витька, что рядом с ними стоит конь. - Садись.

Витька устроился на теплой конской спине. Дядя сел сзади.

- Ну что? - спросил дядя, когда они поехали.

- Ничего.

- Не хочешь быть бухгалтером?

- Нет.

- Ни в какую?

Витьке показалось, что дядя сейчас начнет ругаться, и он промолчал.

- Ну и черт с ней! Знаешь… тоже, я тебе скажу, невелика пешка - бухгалтер. Ничего, Витька, проживем. Ты только, я прошу тебя, не хулигань. Разобидел давеча девку до слез. Она ж невеста, а ты ей такие слова. Чудо!

- Она сама начала.

Дядя закурил и задумался.

Дождь перестал сеяться. Кое-где показались на небе звезды. Крепко запахло картофельной ботвой и гнилой древесиной. По селу лаяли собаки. Хлопали калитки. Разговаривали невидимые люди, слышался молодой беспечный смех. Где-то недалеко били палкой по чему-то мягкому, наверное по перине, и приговаривали:

- Ты гляди, что делается, - пыли-то! Пыли-то!

- Завтра пойдем с тобой к председателю, посоветуемся, - заговорил дядя. - Я бы тебя к машине какой-нибудь приставил. Хочешь?

- Конечно. А домой я не поеду?

- Нет, домой пока не надо.

- Почему?

Дядя помолчал.

- Мать твоя замуж, наверно, выйдет. Она ведь молодая еще. Сватается там один…

Витька чуть с коня не свалился - настолько поразило его это известие. Во-первых, он с удивлением узнал, что его мать еще молодая, во-вторых… как это так? А как он, Витька?

- Он неплохой мужик. Я его знаю немного, - рассказывал дядя, а Витька с болезненной остротой представил себе, как ходит по ихнему дому этот «неплохой мужик» и зевает. Почему-то зевает.

«Из-за меня это она. Потому что я непутевый», - догадался Витька, и ему стало до слез жаль свою мать.

Когда приехали домой, у Витьки окончательно созрел план действий.

У ворот дядя соскочил с коня, открыл одну воротину, впустил Витьку.

- Расседлай его и насыпь овса. Седло в сенцы занеси - дождь, наверно, опять будет. Я пошел на собрание. Сам раздевайся и лезь сразу на печь.

Дядя пошел от ворот и сразу пропал из виду, растворился в чернильной темноте.

Витька подождал, когда затихнут его шаги, выехал из ворот, подстегнул лошадь.

До Игренева, где жила мать Витьки, было километров семь. Витька пробежал их скоро: лошадь разохотилась в беге, несла ровно и быстро. Витька сперва ждал, что она где-нибудь споткнется, потом успокоился и стал думать о матери. Не терпелось поскорей увидеть ее и сказать… что-нибудь хорошее, ласковое. Витька ругал себя, свой дурной характер, который привел к тому, что мать вынуждена впускать в дом чужого мужчину. Ей, конечно, трудно одной - это Витька и без дяди понимал. Теперь они будут вдвоем, теперь Витька никогда не обидит мать, не причинит ей горя.

Мать уже спала, когда Витька въехал во двор. Она услышала стук ворот, вскочила. Прильнула лицом к окну.

Витька соскочил с коня, набросил повод на колышек плетня, постучал в дверь.

- Кто там? - Мать не на шутку испугалась.

- Я, - сказал Витька.

- Витя!.. Ты чего, сынок? - Открыла дверь, обняла второпях сына, потом спохватилась: - Ты чего, сынок? Не с Егором ли чего? Он с тобой?

- Нет. - Витька прошел в избу, дождался, когда мать засветит огонь. Огляделся.

Мать во все глаза смотрела на сына. Какой-то он был… странный.

- Что случилось-то, Витька?!

- Ничего. - Витька присел на краешек кровати, долго молчал.

- Мам… - Голос его чуть дрогнул. - Ты… замуж, что ли, выходишь?..

Мать вспыхнула горячим румянцем. Помолчала, потом заговорила торопливо, с усмешечкой, которая должна была скрыть ее растерянность:

- Да ты что?.. Кто тебе сказал-то? Господи… Ты откуда взял-то это?

«Врет», - понял Витька. И встал.

- Пойду коня расседлаю.

Когда он вышел, мать быстро натянула платьишко, покружилась по избе, не зная, что сделать, потом села к столу и заплакала. Плакала и сама не понимала от чего: от радости ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдет… Так и пройдет.

Когда Витька вошел, она еще плакала.

Витька сел напротив матери. Неловко, осторожно провел рукой по ее волосам.

- Не надо.

- Я ничего, сынок. Я - так. Чаю хочешь?

- Я насовсем приехал, мам.

- Ну и хорошо! Это хорошо, сынок! Я тебе чаю сейчас поставлю.

ДАЛЕКИЕ ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА

Февраль 1942 года.

Под Москвой идут тяжелые бои.

А на окраине далекой сибирской деревеньки крикливая ребятня с раннего утра режется в бабки. Сумки с книжками валяются в стороне.

Обыгрывает всех знаменитый Мишка Босовило - коренастный малый в огромной шапке. Его биток, как маленький снаряд, вырывает с кона сразу штук по пять бабок. Мишка играет спокойно, уверенно. Прежде чем бить по кону, он снимает с правой руки рукавицу, сморкается по-мужичьи на дорогу, прищуривает левый глаз… прицеливается… Все затаив дыхание горестно следят за ним. Мишка делает шаг… второй… - р-р-раз! - срезал. У Мишки есть бабушка, а бабушка, говорят, того… поколдовывает. У ребятишек подозрение, что Мишкин биток заколдован.

Ванька Колокольников проигрался к обеду в пух и прах. Под конец, когда у него осталась одна бабка, он хотел словчить: заспорил с Гришкой Коноваловым, что сейчас его, Ванькина очередь бить. Гришка стал доказывать свое.

- А по сопатке хошъ? - спросил Ванька.

- Да ты же за Петькой бьешь-то!

- Нет, ты по сопатке хошь? - Когда Ваньке нечего говорить, он всегда так спрашивает.

Их разняли.

Последнюю бабку Ванька выставил с болью, стиснув зубы. И проиграл. Потом стоял в сторонке злой и мрачный.

- Мишка, хочешь «Барыню» оторву? - предложил он Мишке.

- За сколько? - спросил Мишка.

- За пять штук.

- Даю три.

- Четыре.

- Три.

- Ладно, пупырь, давай три. Скупердяй ты, Мишка!.. Я таких сроду не видывал. Как тебя еще земля держит?

- Ничего, держит, - спокойно сказал Мишка. - Не хочешь - не надо. Сам же напрашиваешься.

Образовали круг. Ванька подбоченился и пошел. В трудные минуты жизни, когда нужно растрогать человеческие сердца или отвести от себя карающую руку, Ванька пляшет «Барыню». И как пляшет! Взрослые говорят про него, что он, чертенок, «от хвоста грудинку отрывает».

Ванька пошел трясогузкой, смешно подкидывая зад. Помахивал над головой воображаемым платочком и бабьим голоском вскрикивал: «Ух! Ух! Ух ты!». Под конец Ванька всегда становился на руки и шел, сколько мог, на руках. Все смеялись.

Прошелся Ванька по кругу раз пять, остановился.

- Давай!

Мишка бросил на снег две бабки.

Ванька опешил:

- Мы же за три договаривались!

- Хватит.

Витька передвинул шапку козырьком на затылок и медленно пошел на Мишку. Тот изготовился. Ванька неожиданно дал ему головой в живот. Мишка упал. Заварилась веселая потасовка. Половина была на Ванькиной стороне, другие - за Мишку. Образовали кучу мялу.

Но тут кто-то крикнул:

- Училка!

Всю кучу ребятишек как ветром сдуло. Похватали сумки - и кто куда! Ванька успел схватить с кона несколько бабок, перемахнул через прясло и вышел на свою улицу. Он был разгорячен дракой. Около дома ему попалась на глаза снежная баба. Ванька дал ей по уху. Высморкался на дорогу, как Мишка Босовило, вошел в избу. Запустил сумку под лавку, туда же - шапку. Полушубок не стал снимать - в избе было холодно.

На печке сидела маленькая девочка с большими синими глазами, играла в куклы. Это сестра Ваньки - Наташка.

- Ваня пришел, - сказала Наташка. - Ты в школе был?

- Был, был, - недовольно ответил Ванька, заглядывая в шкаф.

- Вань, вам про кого сегодня рассказывали?

- Про жаркие страны. - Ванька заглянул в миску на шестке, в печку. - Пошамать нечего?

- Нету, - сказала Наташка и снова стала наряжать куклу - деревянную ложку - в разноцветные лоскуты. Запела тоненьким голоском:

Ох, сронила колечко-о
С правой руки-и!
Забилось сердечко
По милым дружке-е…
Наташка пела песню на манер колыбельной, но мелодии ее - невыносимо тяжкой и заунывной - не искажала. Ванька сидел у стола и смотрел в окно.

Ох, сказали, мил помер -

Во гробе-е лежи-ит,
В глубокой могилке-е
Землею зарыт.
Ванька нахмурился и стал водить грязным пальцем по синим клеточкам клеенки.

Голос Наташи, как чистый ручеек, льется сверху в синюю пустоту избы.

Ох, надену я платье-е,
К милому пойду-у,
А месяц укажет
Дорожку к нему-у…
- Хватит тебе… распелась, - сказал Ванька. - Спой лучше про Хаз-Булата.

Наташа запела:

Хаз-Булат удало-ой…
Но тут же оборвала:

- Не хочу про Хаз-Булата.

- Вредная! Ну, про Катю.

- Катя-Катерина, купеческая дочь?

- Ага.

- Тоже не хочу. Я про милого буду.

Ох, пускай люди судю-ют,
Пускай говоря-ят…
Ванька поднялся, достал из-под лавки сумку, сел на пол, высыпал из сумки бабки и стал их считать. Вид у него вызывающе-спокойный; краем глаза наблюдает за Наташкой.

Наташка от неожиданности сперва онемела, потом захлопала в ладоши:

- Вот они где, бабочки-то! Ты опять в школе не был? Обязательно скажу маме. Ох, попадет тебе, Ванька!

- …Семь, восемь… Говори, я ни капли не боюсь. Девять, десять…

- Вот не выучишься - будешь всю жизнь лоботрясом. Пожалеешь потом. Локоть-то близко будет, да не укусишь.

Ванька делает вид, что его душит смех.

- …Одиннадцать, двенадцать… А лоботрясом, думаешь, хуже?

В сенцах что-то треснуло. Ванька сгреб бабки и замер.

- Ага! - сказала Наташка.

Но это трещит мороз.

Однако бабки все равно нужно припрятать. Ванька ссыпал их в старый валенок и вынес в сенцы.

Потом опять он сидит у стола. Думает, где можно достать три полена дров. Хорошо бы затопить камелек. Мать придет, а в избе такая теплынь, хоть по полу валяйся. Она, конечно, удивится, скажет: «Да где же ты дров-то достал, сынок?» Ванька даже пошевелился - так захотелось достать три полена. Но дров нету, он это знает.

Наташка уже не поет, а баюкает куклу.

Нудно течет пустое тоскливое время.

За окнами стало синеть.

Чтобы отвязаться от назойливой мысли о дровах, Ванька потихоньку встал, подкрался к печке, вскочил и крикнул громко:

- А-а!

- Ой!.. Ну что ты делаешь-то? - Наташка заплакала. - Напужал, прямо сердце упало…

- Нюня! - говорит Ванька. - Ревушка-коровушка! Не принесу тебе елку. А я знаю, где вот такие елочки!

- Не надо мне твою елочку. Мне мама принесет.

- А хочешь, я тебе «Барыню» оторву?

Ванька взялся за бока и пошел по избе, и пошел, высоко подкидывая ноги в огромных валенках. Наташка засмеялась.

- Ну и дурак ты, Ванька! - сказала она, размазывая по лицу слезы. - Все равно скажу маме, как ты меня пужаешь.

Ванька подошел к окну и стал оттаивать кружок на стекле, чтобы смотреть на дорогу.

В избе тихо, сумрачно и пусто. И холодно.

- Вань, расскажи, как вы волка видели? - попросила Наташка.

Ваньке не хочется рассказывать - надоело.

- Как… Видели, и все.

- Ну уж!

Опять молчат.

- Вань, ты бы сейчас аржаных лепешек поел? Горяченьких, - спрашивает Наташка ни с того ни с сего.

- А ты?

- Ох, я бы поела!

Ванька смеется. Наташка тоже смеется.

В это время под окнами заскрипели легкие шаги. Ванька вскочил и сломя голову кинулся встречать мать.

Наташка запуталась в фуфайке, как перепелка в силке, - никак не может слезть с печки.

- Вань, ссади ты меня, а… Ва-ань! - просит она. Ванька пролетел мимо с криком:

- А я первый услыхал!

Мать в ограде снимала с веревки стылое белье. На снегу около нее лежал узелок.

- Мам, чо эт у тебя?

- Неси в избу. Опять раздешкой выскакиваешь!

В избе Наташка колотит ножонкой в набухшую дверь и ревет - не может открыть. Увидев Ваньку с узелком в руках, она перестает плакать и пытается тоже подержаться за узел - помочь брату.

Вместе проходят к столу, быстренько развязывают узел - там немного муки и кусок сырого мяса. Легкое разочарование - ничего нельзя есть немедленно.

Мать со стуком свалила в сенях белье, вошла в избу. Она, наверно, очень устала и намерзлась за день. Но она улыбается. Родной, веселый голос ее сразу наполнил всю избу, пустоты и холода в избе как не бывало.

- Ну, как вычтут?.. Таля? (Она так зовет Наташку.) Ну-ка расскажи, хозяюшка милая.

- Ох, мамочка-мама! - Наташка всплескивает руками. - У Ваньки в сумке бабки были. Он их считал.

Ванька смотрит в большие синие глаза сестры и громко возмущается:

- Ну что ты врешь-то! Мам, пусть она не врет никогда…

Наташка от изумления приоткрыла рот, беспомощно смотрит на мать: такой чудовищной наглости она не в силах еще понять.

- Мамочка, да были же! Он их в сенцы отнес. - Она чуть не плачет. - Ты в сенцы-то кого отнес?

- Не кого, а чего, - огрызается Ванька. - Это же неодушевленный предмет.

Мать делает вид, что сердится на Ваньку.

- Я вот покажу ему бабки. Такие бабки покажу, что он у нас до-олго помнить будет.

Но сейчас матери не до бабок - Ванька это отлично понимает. Сейчас начнется маленький праздник - будут стряпать пельмени.

- У нас дровишек нисколько не осталось? - спрашивает она.

- Нету, - сказал Ванька и предупредительно мотиулся на полати за корытцем. - В мясо картошки будем добавлять?

- Маленько надо.

Наташка ищет на печке скалку.

- Обещал завезти Филипп одну лесинку… Не знаю… может, завезет, - говорит мать, замешивая в кути тесто.

Началась светлая жизнь. У каждого свое дело. Стучат, брякают, переговариваются… Мать рассказывает…

- Едем сейчас с сеном, глядь: а на дороге лежит лиса. Лежит себе калачиком и хоть бы хны - не шевелится, окаянная. Чуток конь не наступил. Уж до того они теперь осмелели, эти лисы.

Наташка приоткрыла рот - слушает. А Ванька спокойно говорит:

- Это потому, что война идет. Они в войну всегда смелые. Некому их стрелять - вот они и валяются на дорогах. Рыжуха, наверно?

…Мясо нарублено. Тесто тоже готово. Садятся втроем стряпать. Наташка раскатывает лепешки, мать и Ванька заворачивают в них мясо.

Наташка старается, прикусив язык; вся выпачкалась в муке. Она даже не догадывается, что вот эти самые лепешечки можно так поджарить на углях, что они будут хрустеть и таять на зубах.

Если бы в камельке горел огонь, Ванька нашел бы случай поджарить парочку.

- Мама, а у ней детки бывают? - спрашивает Наташка.

- У кого, доченька?

- У лисы.

Ванька фыркнул.

- А как же они размножаются, по-твоему? - спрашивает он Наташку.

Наташка не слушает его - обиделась.

- Есть у нее детки, - говорит мать. - Ма-аленькие… лисятки.

- А как же они не замерзнут?

Ванька так и покатился.

- Ой, ну я не могу! - восклицает он.- А шубки-то у них для чего?

- Ты тут не вякай, - говорит Наташка. - Лоботряс!

- Не надо так на брата говорить, доченька. Это нехорошо.

- Не выучится он у нас, - говорит Наташка, глядя на Ваньку строгими глазами. - Потом хватится.

- Завтра зайду к учительше, - сказала мать и тоже строго посмотрела на Ваньку, - узнаю, как он там…

Ванька сосредоточенно смотрит в стол и швыркает носом. Мать посмотрела в темное окно и вздохнула:

- Обманул нас Филиппушка… образина косая! Пойдем в березник, сынок.

Ванька быстренько достает с печки стеганые штаны, рукавицы-лохмашки, фуфайку. Мать тоже одевается потеплее. Уговаривает Наташку:

- Мы сейчас, доченька, мигом сходим. Ладно?

Наташка смотрит на них и молчит. Ей не хочется одной оставаться.

Мать с Ванькой выходят на улицу, под окном нарочно громко разговаривают, чтобы Наташка их слышала. Мать еще подходит к окну, стучит Наташке:

- Таля, мы сейчас придем. Никого не бойся, милая! Наташка что-то отвечает - не разобрать что.

- Боится, - сказала мать. - Милая ты моя-то… - Отвернулась и вытерла рукавицей глаза.

- Они все такие, - объяснил Ванька.

…Спустились по крутому взвозу к реке. На открытом месте гуляет злой ветер. Ванька пробует увернуться от него: идет боком, идет задом, а лицо все равно жжет как огнем.

- Мам, посмотри! - кричит он. Мать осматривает его лицо, больно трет шершавой рукавицей щеку. Ванька терпит.

В лесу зато тепло и тихо. Удивительно тихо, как в каком-то сонном царстве. Стройные березки молча обступили пришельцев и ждут. Ванька вылетел вперед по глубокому снегу и, облюбовав одну, ударил обухом по ее звонкому крепкому телу. Сверху с шумом тяжко ухнула тучи снега. Ванька хотел отскочить, запнулся и угодил о головой в сугроб, как в мягкую холодную постель.

Мать смеется и говорит:

- Ну вставай!

Пока Ванька отряхивается, мать утаптывает снег вокруг березки. Потом, скинув рукавицы, делает первый удар, второй, третий… Березка тихо вздрагивает и сыплет крохотными сверкающими блестками. Сталь топора хищно всплескивает холодным огнем и раз за разом все глубже вгрызается в белый упругий ствол.

Ванька тоже пробует рубить, когда мать отдыхает. Но после десяти-двенадцати ударов горячий туман застилает ему глаза. Гладкое топорище рвется из рук.

Снова рубит мать.

Березка охнула и повалилась набок.

Срубили еще одну - поменьше - Ваньке и, взвалив их на плечи, вышли на дорогу. Идти поначалу легко. Даже весело. Тонкий конец березки едет по дороге, и березка глуховато поет около уха. Прямо перед Ванькой на дороге виляет хвост березки, которую несет мать. Ванькой овладевает желание наступить на него. Он подбегает и прижимает его ногой.

- Ваня, не балуй! - строго говорит мать. Идут.

Березка гудит и гнется в такт шагам, сильно нажимая на плечо. Ванька останавливается, перекладывает ее на другое плечо. Скоро онемело и это. Ванька то и дело останавливается и перекладывает комель березы с плеча на плечо. Стало жарко. Жаром пышет в лицо дорога.

- …Семисит семь, семисит восемь, семисит девять… - шепчет Ванька. Идут.

- Притомился? - спрашивает мать.

- Еще малость… Девяносто семь, девяносто восемь… - Ванька прикусил губу и отчаянно швыркает носом. - Девяносто девять, сто! - Ванька сбросил с плеча березку и с удовольствием вытянулся прямо на дороге.

Мать поднимает его. Сидят на березке рядом. Ваньке очень хочется лечь. Он предлагает:

- Давай сдвинем обои березки вместе, и я на них лягу, если уж так ты боишься, что я захвораю. Мать тормошит его, прижимает к теплой груди.

- Мужичок ты мой маленький, мужичок… Потерпи маленько. Большую мы тебе срубили. Надо было поменьше.

Ванька Молчит. И молчит Ванькина гордость. Мать думает вслух:

- Как теперь наша Талюшка там?.. Плачет, наверно?

- Конечно, плачет, - говорит Ванька. Он эту Талюшку изучил как свои пять пальцев. Еще некоторое время сидят.

- Отцу нашему тоже трудно там, - задумчиво говорит мать. - Небось в снегу сидят, сердешные… Хоть бы уж зимой-то не воевали.

- Теперь уж не остановятся, пока фрицев не разобьют.

Еще с минуту сидят.

- Отдохнул?

- Отдохнул.

- Пошли с богом.

Было уже совсем темно, когда пришли домой.

Наташка не плакала. Она наложила в блюдце сырых пельменей, сняла с печки две куклы и усадила их перед блюдцем. Одну куклу посадила несколько дальше, а второй, та, что ближе, говорила ласково:

- Ешь, доченька моя милая, ешь! А этому лоботрясу мы не дадим сегодня.

…Ванька с матерью быстро распилили березки; Ванька впотьмах доколол чурбаки, а мать в это время затопила камелек.

Потом Ванька с Наташкой сидят перед камельком. Огонь весело гудит в печке; пятна света, точно маленькие желтые котята, играют на полу. Ванька блаженно молчит. Наташка пристроилась у него на коленях и тоже молчит. По избе голубыми волнами разливается ласковое тепло. Наташку клонит ко сну. Ваньку тоже. А в чугунке еще только-только начинает «ходить» вода. Мать кроит на столе материю, время от времени окликает ребятишек и рассказывает:

- Вот придет Новый год, срубим мы себе елочку, хоро-ошенькую елочку… Таля, слышишь? Не спите, милые мои. Вот срубим мы эту елочку, разукрасим ее всякими шишками да игрушками, всякими зайчиками - до того она у нас будет красивая…

Ванька хочет слушать, но кто-то осторожно берет его за плечи и валит на пол. Ванька сопротивляется, но слабо. Голос матери доносится откуда-то издалека. Кажется Ваньке, что они опять в лесу, что лежит Ванька в снегу… Мать ищет его по лесу, зовет. А Ванька лежит в снегу и помалкивает. Странно, что в снегу тепло.

…Разбудить их, наверно, было нелегко. Когда Ванька всплыл из тягучего сладкого сна на поверхность, мать говорила:

- …Это что же за сон такой, обломон… сморил моих человечков. Ух, он сон какой!..

Ванька, покачиваясь, идет к столу.

В тарелке на столе дымят пельмени, но теперь это уже не волнует. Есть не хочется. Наташка, та вообще не хочет просыпаться. Хитрая, как та лиса. Мать полусонную усаживает ее за стол. Она чихает и норовит устроиться спать за столом. Мать смеется. Ванька тоже улыбается. Едят.

Через несколько минут Ванька объявляет, что наелся до отказа. Но мать заставляет есть еще.

- Ты же себя обманываешь - не кого-нибудь, - говорит она.

…После ужина Ванька стоит перед матерью и спит, свесив голову. Материны теплые руки поворачивают Ваньку: полоска клеенчатого сантиметра обвивает Ванькину грудь, шею - ему шьется новая рубаха. Сантиметр холодный - Ванька ежится.

Потом Ванька лезет на полати и, едва коснувшись подушки, засыпает. Наташка тоже спит. В одной руке у нее зажат пельмень.

В самый последний момент Ванька слышит стрекот швейной машинки - завтра он пойдет в школу в новой рубахе.

ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ ИВАНА ПОПОВА

Первое знакомство с городом

Перед самой войной повез нас отчим в город Б. Это - ближайший от нас, весь почти деревянный, бывший купеческий, ровный и грязный.

Как горько мне было уезжать! Я невзлюбил отчима и, хоть не помнил родного отца, думал: будь он с нами, тятя-то, никуда бы мы не засобирались ехать. Назло отчиму (теперь знаю: это был человек редкого сердца - добрый, любящий… Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми), так вот назло отчиму, папке назло - чтобы он разозлился и пришел в отчаяние, - я свернул огромную папиросу, зашел в уборную и стал «смолить» - курить. Из уборной из всех щелей повалил дым. Папка увидел… Он никогда не бил меня, но всегда грозился, что «вольет». Он распахнул дверь уборной и, подбоченившись, стал молча смотреть на меня. Он был очень красивый человек, смуглый, крепкий, с карими умными глазами… Я бросил папироску и тоже стал смотреть на него.

- Ну? - сказал он.

- Курил… - Хоть бы он ударил меня, хоть бы щелкнул разок по лбу, я бы тут же разорался, схватился бы за голову, испугал бы маму. Может, они бы поругались и, может, мама заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой - бьет детей.

- Я вижу, что курил. Дурак ты, дурак, Ванька… Кому хуже-то делаешь? Мне, что ли? Пойду сейчас и скажу матери…

Это не входило в мои планы, и это могло мне выйти боком - мама-то как раз и отстегала бы меня. Я догнал папку…

- Папка, не надо, не ходи!

- Зачем ты куришь, дурачок, с таких лет? Ведь это ж сколько никотину скопится за целую жизнь! Ты только подумай, голова садовая. Скажи, что больше не будешь, - не пойду к матери.

- Не буду. Истинный мой Бог, не буду.

- Ну смотри.

… И вот едем в город - переезжаем. На телеге наше добро, мы с Талей сидим на верхотуре, мама с папкой идут пешком. За телегой, привязанная, идет наша корова Райка.

Таля, маленькая сестра моя, радуется, что мы едем, что нам еще далеко-далеко ехать. Невдомек ей, что мы уезжаем из дома. Вообще-то мне тоже нравится ехать. Вольно кругом, просторно… Степь. В травах стоит несмолкаемая трескотня: тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху, из жаркой синевы, льются витые серебряные ниточки… Наверно, эти-то тоненькие ниточки и куют на своих наковаленках маленькие кузнецы и развешивают сверкающими паутинками по траве. Рано утром, когда встает солнце, на ниточки эти, протянутые от травинки к травинке, кто-то нанизывает изумрудный бисер - зеленое платье степи блестит тогда дорогими нарядами.

Мы останавливаемся покормиться.

Папка выпрягает коня, пускает его по бережку. Райка тоже пошла с удовольствием хрумтеть сочным разнотравьем. Мы раскладываем костерок - варить пшенную кашу. Хорошо! Я даже забываю, что мы уезжаем из дома. Папка напоминает:

- Вот здесь наша река последний раз к дороге подходит. Дальше она на запад поворачивает.

Мы все некоторое время молча смотрим на родимую реку. Я вырос на ней, привык слышать днем и ночью ее ровный, глуховатый, мощный шум… Теперь не сидеть мне на ее берегах с удочкой, не бывать на островах, где покойно и прохладно, где кусты ломятся от всякой ягоды: смородины, малины, ежевики, черемухи, облепихи, боярки, калины… Не заводиться с превеликим трудом - так, что ноги в кровь и штаны на кустах оставишь - бечевой далеко вверх и никогда, может быть, не испытать теперь величайшее блаженство - обратный путь домой. Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удрученным заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх «с ночевой». Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор… В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружье и тугой, тяжелый патронташ.

- Ну все?

- Все вроде…

- Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевкой устроиться. Берись!

Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму, остальные, человека два-три, - в бечеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бечеве, правда, там горсть смородины на ходу слупишь, там второпях к воде припадешь горячими губами, там надо вброд через протоку - по пояс… Да еще сорвешься с осклизлого валуна да с головой ухнешь… Хорошо именно то, что все это на ходу, не нарочно,

не для удовольствия. А главное, ты, а не тот, на корме, основное-то дело делаешь…

Эх, папка, папка! А вдруг да у него не так все хорошо пойдет в городе? Ведь едем-то мы - попробовать. Еще неизвестно, где он там работу найдет, какую работу? У него ни грамоты большой, ни специальности. И вот надо же - поперся в город и еще с собой трех человек потащил. А сам ничего не знает, как там будет. Съездил только, договорился с квартирой, и все. И мама тоже… Куда согласилась? Последнее время, я слышал, все шептались по ночам: она вроде не соглашалась. Но ей хотелось выучиться на портниху, а в городе есть курсы… Вот этими курсами-то он ее и донял. Согласилась. Попробуем, говорит. Ничего, говорит, продавать не будем, лишнее, что не надо, рассуем для хранения по родным и поедем, попробуем. А папке страсть как охота куда-нибудь на фабрику или в мастерскую какую - хочется ему стать рабочим, и все тут. Ну, вот и едем.

… Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом находил дорогу: сворачивали в темные переулки, громыхали колесами по булыжнику улиц… Раза два он только спрашивал у встречных, встречные объясняли что-то на тарабарском языке: надо еще до конца Осоавиахимовской, потом свернуть к Казармам, потом будет Дегтярный… Папка возвращался к нам и говорил, что все правильно - верно едем. Мы с Талей и мама притихли. Только папка один храбрился, громко говорил… Наверно, чтоб подбодрить нас.

По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами большие дома. В окнах яркий свет.

- Господи, да когда же приедем-то? - не выдержала мама. Это же самое удивляло и меня: казалось, что мы, пока едем по городу, проехали пять таких деревень, как наша. Вот он, город-то!

- Скоро, скоро, - бодрится папка. - Еще свернем на одну улицу, потом в переулок - и дома.

Дома!.. Смелый он человек, папка. Я его уважаю. Но затею его с городом все-таки не могу принять. Страшно здесь, все чужое, можно легко заблудиться.

Не заблудились. Подъехали к большому дому, папка остановил коня.

- Здесь. Счас скажу, что приехали…

- Скорей там, - велит мама.

- Да скоро! Скажу только…

В переулке темно. Я чувствую, мама боится, и сам тоже начинаю бояться. Одной Тале - хоть бы хны.

- Мам, мы тут жить станем?

- Тут, доченька… Заехали!

- Уговори ты его назад, домой, - советую я.

- Да теперь уж… Вот дура-то я, дура!

Папки, как на грех, долго нету. В доме горит свет, но забор высокий, ничего в окнах не видать.

Наконец появился папка… С ним какой-то мужик.

- Здравствуйте, - не очень приветливо говорит мужик. - Заезжай, я покажу, куда ставить. Барахла-то много?

- Откуда!.. Одежонка кой-какая да постелишка.

- Ну, заезжайте.

Пока перетаскивают наши манатки, мы сидим с Талей в большой, ярко освещенной

комнате на сундуке в углу. В комнату вошел долговязый парнишка… с самолетом. Я прирос к сундуку.

- Хочешь подержать? - спросил парнишка.

Самолет был легкий, как пушинка, с тонкими размашистыми крыльями, с винтиком впереди… Таля тоже потянулась к самолету, но долговязый не дал.

- Ты изломаешь.

Таля захныкала и все тянулась к самолету - тоже подержать. Долговязый был неумолим. И во мне вдруг пробудилось чудовищное подхалимство, и я сказал строго:

- Ну чего ты? Изломаешь, тогда что?! - Мне хотелось еще разок подержать самолет, а чтоб долговязый дал, надо, чтоб Таля не тянулась и нечаянно не выхватила бы его у меня.

Тут вошли взрослые. Отец долговязого сказал сыну:

- Иди спать, Славка, не путайся под ногами.

Когда остались мы одни, я вдруг обнаружил, что свет-то - с потолка!.. Под потолком висела на шнуре стеклянная лампочка, похожая на огурец, а внутри лампочки - светлая паутинка. Я даже вскрикнул:

- Гляньте-ка!..

- Ну что? Электричество. Ты, Ванька, поменьше теперь ори - не дома.

Тут вступилась мама:

- Парнишке теперь и слова нельзя сказать?

- Да говори он сколько влезет - потихоньку. Чего заполошничать-то.

Они еще поговорили в таком духе - частенько так разговаривали.

- Завез, да еще недовольный…

- Ну и давай теперь на каждом шагу: «Гляди-ка! Смотри-ка!» Смеяться ведь начнут.

- Ну и не одергивай каждый раз парнишку!

- Погоди, сядет он тебе на шею, если так будешь…

А как, интересно? Самого отец чуть не до смерти зашиб на покосе за то, что он, мальчишкой, побоялся распутать и обратать шкодливую кобылу - лягалась… Сам же нет-нет да вспомнит про это и обижается на своего отца. Его тогда, маленького-то, насилу откачала мать, бабушка наша неродная. А на шею я никому не сяду, не надо этого бояться.

Мы легли спать.

Долго мне не спалось. Худо было на душе. За стеной громко, с присвистом храпел хозяин, чуждо гудели под окнами провода, проходили по улице - группами - молодые парни и девки, громко разговаривали, смеялись. Почему-то вспомнилось, как родной наш дедушка, когда выпьет медовухи, всякий раз спрашивает меня:

- Ванька, какое самое длинное слово на свете?

Я давно знаю, какое, а чтоб еще раз услышать, как он выговаривает это слово, хитрю:

- Не знаю, деда.

- А-а!.. - И начинает: - Интре… интренацал… - И потом только одолевает: - Ин-тер-на-ци-о-нал! Мы покатываемся со смеху - мама, я и Таля.

- Эх вы!.. Смешно? - обижается дедушка. - Ну, валяйте, смейтесь.

Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снились большие дома, самолет, лампочка… Можно бы написать, но не помню, снилось ли. Может, снилось.

Утром я проснулся оттого, что прямо под окном громко сморкался хозяин и приговаривал:

- Ты гляди што!.. Прямо круги в глазах.

Мамы и папки не было. Таля спала. Я стал думать: как теперь пойдет жизнь? Дружков не будет - они, говорят, все тут хулиганистые, еще надают одному-то. Речки тоже нету. Она есть, сказывал папка, но будет далеко от нас. Лес, говорит, рядом, там, говорит, корову будем пасти. Но лес не нашенский, не острова - бор, - это страшновато. Да и что там, в бору-то? - грузди только.

Тут вдруг в хозяйской половине забегали, закричали… Я понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину. Всем семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их комнату - посмотреть, какие в городе печки. Говорили, какие-то чудные. Открыл дверь… и не печку увидел, а аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их зовут - сайки. Никого в комнате не было. Я подошел к столу взял сайку и пошел к Тале. Она как раз проснулась.

- Ой! - сказала она. - Дай-ка мне.

- Всю, что ли?

- Да зачем?.. Смеряй ниточкой да отломи половинку. Это мама купила?

- Дали. Славка дал.

Разломили саечку и стали есть, сидя на кровати. Никогда не ел такого вкусного хлеба. До чего же душистый, мягкий, чуть солоноватый, даже есть жалко; я все поглядывал, сколько осталось. Мы не услышали, как открылась дверь… Услышали:

- Уже пакостить начали? - С порога на нас глядела хозяйка. У меня все оборвалось внутри.

- Зачем ты взял сайку?

И - вот истинный Бог, не вру - я сказал:

- Я думал, она чужая.

- Чужая… Нехорошо так делать. Это - воровство называется. Я вот скажу отцу с матерью…

Что-то я вконец растерялся… Вдруг спросил:

- Горошину-то вытащили?

- О какой! - удивилась хозяйка. - Хитрит еще. - И ушла.

Мне стало совсем невмоготу.

- Пойдем домой? - предложил я Тале.

- Счас, давай только доедим, - легко согласилась она. Она твердо помнила наказ мамы: не есть на ходу, а - сядь, съешь, чего у тебя там есть, тогда уж ходи или бегай.

Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай, и заторопил Талю. Она было заупрямилась, но все же пошла.

Я помнил, что мы к воротам подъехали слева, если стоять к ним лицом, значит, теперь надо - вправо. Пошли вправо. Дошли до перекрестка… Я не знал, как дальше. Спросил какого-то дяденьку:

- Как бы нам до Ч-ского тракта дойти?

- А зачем? - спросил дяденька.

- Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджидает. - Раньше всего другого, что значительно облегчает эту жизнь, я научился врать. И когда врал и мне не верили, я чуть не плакал от обиды. Дяденька внимательно посмотрел на меня, на Талю… И показал:

- Вот так прямо - до перекрестка, потом улица налево пойдет - по ней, а там, как дойдешь до водонапорной башни, большая такая, там спроси снова.

От водонапорной башни дорогу дальше показала тетенька и даже прошла с нами немного.

Долго ли, коротко ли мы шли, а к Ч-скому тракту вышли. Там мы сели на взгорок и стали ждать, кто бы нас подвез до нашей деревни. Там, на взгорке, к вечеру уже, нашли нас мама с папкой. Таля плакала - хотела есть, мной потихоньку овладевало отчаяние…

- Таленька!.. Доченька ты моя-а!..

Я думал, мне крепко влетит. Нет, ничего.

Скоро началась война. Мы вернулись в деревню…

Папку взяли на войну.

В 1942 году его убили.

Гоголь и Райка

В войну, с самого ее начала, больше всего стали терзать нас, ребятишек, две беды: голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами. Летом - другое дело. Летом пошел поставил на ночь перемета три-четыре, глядишь, утром - пара налимов есть. (До сего времени сладостно вздрагивает сердце, как вспомнишь живой, трепетный дерг бечевы в руках, чириканье ее по воде, когда он начинает там «водить».) Или пошел назорил в околках сорочьих яиц, испек в золе - сыт. Да мало ли! Будь попроворней да имей башку на плечах - можно и самому прокормиться, и домой принести. Но зима!.. Будь она трижды проклята, эта зимушка-зима!.. И воет и воет над крышей, хлопает плахами… Все тепло, какое было с утра в избе, все к вечеру высвистит, сколько ни наваливай на порог, под дверь, тряпья, как ни старайся утеплить окна. Или наладятся такие морозы, что в сенцах трескотня стоит и, кажется, вот-вот, еще маленько поддаст, и полопаются стекла в окнах. Выскочишь на минуту в ограду, в пригон - тебя точно в сугроб голенького, и рот ледяной ладошкой запечатают. А в притоне - корова… Вот горе-то: сена в обрез, ей жевать и жевать в такую стужу, а где возьмешь, зиме еще конца не видно. Сделаешь свое малое дело и пулей опять в избу - от холода жгучего, в нестерпимой боли за корову: чтоб уж хоть не видеть ее, понурую, всю в инее, с печальными глазами. И в избе нет покоя: тут - худо-бедно - согреешься, а она там стоит… И только на ночь дадим ей охапку сена, и все. И так и видишь все время бесконечно печальные коровьи глаза - прямо в душу глядят. Она ведь кормилица. Она по весне принесет молоко и теленка - это такая суматошная радость в эти дни, когда наша Райка (корова) вот-вот отелится. Тут весна, теплеет уже, а тут скоро заскользит по полу нежными копытцами, может, Бог даст, телочка. (Мы в прошлом году сдали телочку в колхоз. Нам дали муки, много жмыха и чайник меда. Долго, конечно, такого праздника ждать - лето, зиму и еще лето, но тем он и дороже, праздник-то. Да и есть, что ждать.) В такие дни, весной, у нас в избе идет такой тарарам, что душа заходится от ликующего, делового чувства. Я то и дело выскакиваю смотреть Райку, щупаю ее теплое брюхо, хоть ни шиша не смыслю в этом. Таля тоже бегает со мной, тоже щупает Райкино брюхо… Райка, повернув голову, смотрит на нас дымчато-влажными глазами, нежными глазами - она тоже ждет теленка, она, наверно, понимает наше суетливое беспокойство.

- Вань, скоро?

- Ночью, наверно, опростается.

Всю ночь у нас горит свет; мама ходит к Райке, тоже щупает ее брюхо…

Приходит и говорит:

- Прямо близко уже… Слышно: толкается ногами-то, толкается, а все никак. Уж не беда ли с ней? Матушка - царица небесная, не допусти до смерти голодной. Куда мы тогда денемся?

Тревожная, страшная ночь.

И рано поутру наш дедушка смотрит Райку и говорит нам всем:

- Чего заполошничаете-то? Сегодня к ночи только… Детей пужаешь, дуреха! - Это он на маму, потому что к утру мы с Талей бываем зареванными. Сколько счастья приносил нам дедушка!

А теперь - еще зима. Я на стенке начертил в ряд несколько палочек, сколько осталось дней до марта. Вычеркиваю вечерами по одной, но их еще так много!

Но бывала у меня одна радость - неповторимая, большая - и зимой: в долгие зимние вечера я читал на печке маме и Тале книги.

С книгами у меня целая история. Я каким-то образом научился читать до школы: учил меня дядя Павел (тот сам читать страсть как любил и даже пытался сочинять стихи и, говорит, когда он был на войне, то некоторые его стихи печатали во фронтовой газете. Наверно, неправду говорит, он прихвастнуть любит: когда мне теперь попалась тетрадка его стихов, они поразили меня своей бестолковщиной)… Словом, как только я еще и в школе поднаторел и стал читать достаточно хорошо, я впился в книги. Я их читал без разбора, подряд, какие давала библиотекарша. Она удивлялась и не верила:

- Уже прочитал?

- Прочитал.

- Неправда. Надо, мальчик, до конца читать, если берешь книга. Вот возьми и дочитай.

Что с ней было делать? Брал книжку обратно, терпел дня два и шел опять. Потом я наловчился воровать книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре, шкаф, и когда летом школу ремонтировали, в коридор - вечерком, попозже - можно было легко проникнуть. Дальше - еще легче: шкаф двустворчатый, два колечка на краях створок, замок с дужкой… Приоткроешь створки - щель достаточна, чтоб пролезла рука: выбирай любую! Грех говорить, я это делал с восторгом. Я потом приворовывал еще кое-что по мелочи, в чужие огороды лазил, но никогда такого упоения, такой зудящей страсти не испытывал, как с этими книгами.

Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо. Это пришла и рассказала учительница. Они с мамой тут же установили причину такого страшного отставания - книги. (Парень-то я был не такой уж совсем дремучий.) А тут еще какая-то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много читал, что бывает - зачитываются. Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, дружкам моим запретили давать мне книги, которые они берут на свое имя. Они, конечно, давали. Мама выследила меня дома, книжки отняла, меня выпорола… Я стал потихоньку снимать, с чердака книги, украденные раньше в школьном шкафу. (Эта лавочка со школьными книгами к тому времени для меня кончилась: обнаружили пропажу, переделали запор. В краже книг обвинили плотников: зачем они на свои самокрутки достают и дерут книги, которые так нужны школе. Для этого есть старые газеты. Плотники клялись, что они ни сном ни духом не ведают, куда девались книги - они не брали.) Я снимал книги с чердака и перечитывал уже читанное. Я делал это так: вкладывал книгу в обложку задачника и спокойно читал. Мама видела, что у меня в руках задачник, и оставляла меня в покое и еще радовалась, наверно, что я сел наконец за уроки. Подумай она нечаянно, что нельзя же так подолгу, с таким упоением читать задачник - подумай она так, мне опять была бы выволочка.

На мое счастье, об этой возне с книгами узнала одна молодая учительница из эвакуированных ленинградцев (к стыду своему, забыл теперь ее имя), пришла к нам

домой и стала беседовать со мной и с мамой. (Наши женщины, все жители села очень уважали ленинградцев.) Ленинградская учительница узнала, как я читаю, и разъяснила, что это действительно вредно. А главное, совершенно без всякой пользы: я почти ничего не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе. Но она убедила и маму, что читать надо, но с толком. Сказала, что она нам поможет: составит список, и я по этому списку стану брать книги в библиотеке. (Читал я действительно черт знает что: вплоть до трудов академика Лысенко - это из ворованных. Обожал также брошюры - нравилось, что они такие тоненькие, опрятные, отчесал за один присест и в сторону ее.) С тех пор стал я читать хорошие книжки. Реже, правда, но всегда это был истинный праздник. А тут еще мама, а вслед за ней и Таля тоже проявили интерес к книгам. Мы залезали вечером все трое на обширную печь и брали туда с собой лампу. И я начинал… Господи, какое жгучее наслаждение я испытывал! Точно я прожил большую-большую жизнь, как старик, и сел рассказывать разные истории моим родным, крайне заинтересованным благородным людям. Точно не книгу я держу поближе к лампе, а сам все это знаю. Когда мама удивлялась: «Ах ты, Господи! Гляди-ка! Вот ведь что на свете бывает!» - я чуть не стонал от счастья и торопливо и несколько раздраженно говорил: «Да ты погоди, ты послушай, что дальше будет!» - А что дальше, Вань? - вылетала со своим языком курносая Таля. Я шипел на нее, обзывая «дурой», мама строго говорила, что так не надо.

- А чего она!..

- Ну раз мы не понимаем, мы и спрашиваем. А ты не сердись, а рассказывай - ты же знаешь. Тебя разве учительница обзывает дураком?

- Дак можно же сообразить, что я еще сам пока не знаю, что будет дальше!

- Она маленькая. Читай-ка дальше.

Ах, какие это были праздники! (Я тут частенько восклицаю: счастье, радость! праздники!.. Но это - правда, так было. Может, оттого, что - детство. А еще, я теперь догадываюсь, что в трудную, горькую пору нашей жизни радость - пусть малая, редкая - переживается острее, чище.) Это были праздники, которые я берегу - они сами сберегаются - всю жизнь потом. Лучшего пока не было.

Вот что только омрачало праздники: мама, а вслед за ней Галя скоро засыпали. Только разохотишься, только наладишься читать всю ночь, глядь, уж мама украдкой зевает. А вслед за ней и ее копия тоже ладошечкой рот прикрывает - подражает маме. Я чуть не со слезами смотрю на них.

- Читай, читай! Что, уж зевнуть нельзя?

- Да ведь поснете сейчас!

- Не поснем. Читай знай.

Но я знаю - поснут. Читаю дальше… Мама борется со сном, глаза ее закрываются, она слабеет. Эх!.. Еще минута-две, и мои слушательницы крепко спят. Сижу, горько обиженный… Невдомек было дураку: мама наработалась за целый день, намерзлась. А этой, маленькой, ей эти мои книжки - до фонаря: она хочет быть похожей на маму, и все. Пробую читать один - не то. Да и в сон тоже начинает клонить… И еще одно, что тревожило праздники: мысль о Райке. Вот она скоро доест, свою охапку сена и будет стоять мерзнуть до утра. От этой мысли самому холодно и горько, и совестно становится на теплых кирпичах. И маму тоже больно тревожила эта же мысль, и она нет-нет да вздохнет, когда я читаю.

Я знаю, о чем она. Но что делать, что делать! Где его возьмешь, сена?

В один такой вечер мы читали «Вия». Я, сам замирая от страха, читал:

- «Он дико взглянул и протер глаза. Но она, точно, уже не лежит, а сидит в своем гробу. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил их на гроб. Она встала… идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.

Она идет прямо к нему…» Первой не выдержала мама.

- Хватит, сынок, не надо больше. Завтра дочитаем.

- Давай, мам…

- Не надо, ну их… Вот завтра дедушку позовем ночевать, и ты нам опять ее всю прочитаешь. Как заглавие-то?

- Гоголь. Но тут разные, а эта - «Вий».

- Господи, Господи… Не надо больше.

Мы долго лежали со светом. Таля уже спала, а мы с мамой не могли заснуть. По правде говоря, я бы и сам не смог читать дальше. Вот так книга! Учительница отметила на листочке, какие читать в сборнике, а эту не отметила. А я почему-то (запретный плод, что ли?) начал именно с «Вия». И вот, пожалуйста: сразу непостижимый, душу сосущий, захватывающий ужас. И сил нет оторваться, и жутко. Хоть бы завтра дедушка не хворал, хоть бы он пришел, курил бы, лежал на лавке, накрывшись тулупом (он не мог спать на кровати под одеялом), хоть бы он… Мы бы… я бы снова стал читать этого «Вия» и дочитал бы до конца.

- Ты не бойся, сынок, спи. Книжка она и есть книжка, выдумано все. Кто он такой, Вий?

- Главный черт. Я давеча в школе маленько с конца урвал.

- Да нету никаких Виев! Выдумывают, окаянные, - ребятишек пужать. Я никогда не слыхала ни про какого Вия. А то у нас старики не знали бы!..

- Так это же давно было! Может, он помер давно.

- Все равно старики все знают. Они от своих отцов слыхали, от дедушек… Тебе же дедушка рассказывает разные истории? - рассказывает. Так и ты будешь своим детишкам, а потом, может, внукам…

Мне смешно от такой необычайной мысли. Мама тоже смеется.

- Вот чего, - говорит она, - побудьте маленько одни, я схожу сено подберу. Давеча везла да в переулке у старухи Сосниной сбросила навильник. Она подымается рано - увидит, подберет. А жалко - добрый навильник-то. Посидишь, ничего?

- Посижу, конечно,

- Посиди, я скоренько. Огонь не гаси. С печки не слазь.

Мама торопливо собралась, еще сказала, чтоб я никого не боялся, и ушла. Я стал думать, что я опять не отдал должок (семнадцать бабок) Кольке Быстрову - чтоб не думать про Вия. Тоже невеселая дума (неделю уже не могу отдать), но уж лучше про это, чем… Но мысли мои упрямо возвращаются к Вию; возникает неодолимое желание посмотреть вниз, в темный угол. Я начинаю отчаянно бороться с этим желанием, отвернулся к Тале, внушаю себе знакомое: на печке никакая нечистая сила не страшна, на печку они не могут залезть, им не дано, они могут сколько им влезет звать, беситься, стращать внизу, но на печку не полезут, это проверено. Покрутятся до первых петухов и исчезнут. Лежу и стараюсь повеселей думать об этом. Но точно кто за волосы тянет - затылок сводит от желания посмотреть вниз, в угол. Сил моих нет бороться. И уж думаю: ну, загляну! Пусть они попробуют на печку залезть. Пусть они только попробуют… И тут я слышу в сенях торопливые шаги. Я цепенею от ужаса… Кто там? Мама еще до старухи Сосниной не дошла… Вот уж за скобку взялись… Я дернул одеяло на себя, укрылся с головой - чтоб только не видеть… Господи, Господи!.. Учиться хорошо буду, маму слушаться… Дверь открылась, и я слышу мамин голос, потревоженный скорой ходьбой:

- Спишь, сынок?

С сердца схлынул мглистый, цепкий холодок жути.

- Ты, мам? Ты чего скоро-то?

- Да я подумала: чего же я одна-то пошла, мне же одной-то не донести -

навильник-то добрый… Пойдем-ка возьмем веревки, навяжем две вязанки да принесем. Жалко бросать-то. Таля-то спит?

Я мигом слетаю с печки.

- Спит. Я счас… Она сроду не проснется!

И вот мы идем темной улицей близко друг к другу… Молчим. Поспешаем. Я считаю, сколько еще домов осталось до старухи Сосниной. Пять. Вот - переулочек. Тут - четыре избы и длинный огород этой самой старухи.

- Сено-то доброе! Прямо пух… Жалко оставлять-то. Давечь никого в переулке-то не было, я и сбросила с воза. Чего им, колхозным-то? Им-то до весны с лишком хватит…

- Если хороший навильник - раза на три хватит дать.

- Там на четыре хватит. Я ишо там, когда накладывались, подумала: может, запоздаем в деревню-то - стемнеет, поедем переулком, я и сброшу. Да и положила поверх бастырка здоро-о-вый навильник.

- А если б в переулке кто-нибудь бы оказался?

- Ну, тогда что ж… отвезла бы в бригаду. Тут уж ничего не сделаешь.

- Ух, она же и поест у нас сейчас! Свеженького-то… Сразу согреется. Сразу ей дадим?

- Знамо, сразу! Дармовое…

Ну вот она, старухина изба. У нее там - между избой и баней - есть такой закоулок… Летом там крапива растет в рост человеческий, а зимой сохлые стеблины торчат из снега, чернеют - вечером и то никакого сена не разглядишь, не то что ночью.

Мы скоро навязываем две большие вязанки… Сено пахучее, шуршит в руках, колется. Так и вижу нашу Райку - как она уткнет свою морду в это добро.

Идем назад. И тут - черт ее вынес, проклятую, - собака Чуевых: подбежала, невидная, неслышная, да как гавкнет. Я подскочил, но вязанки не выронил… А мама выронила свою и села на нее. Едва оправилась от страха, пошли. Мама ругается:

- Вот гадина!.. У меня чуть разрыв сердца не случился. Ты-то как, сынок?

- Да ничего. Ноги маленько ослабли сперва, а сейчас ничего.

Некоторое время еще идем.

- Может, подбежим, сынок? Оно скорей дело-то будет. А то Таля бы там не проснулась…

- Давай.

И вот мы трусим по улице. Мне смешно, как вязка - точно большой темный горб - подскакивает на маминой спине.

Райка мыкнула, услышав нас… Я распустил свою вязанку и бухнул ей в ноги большую охапку. Райка мотнула головой и захрумтела вкуснейшим сенцом.

- Ешь, милая, ешь, - говорит мама. - Ешь, родимая. - И чего-то всплакнула и тут же вытерла слезы и сказала: - Ну, пошли, Вань, а то Талюха там… Дело сделали!

Таля спит! Даже не пошевельнулась, пока мы шумно и весело раздевались и залезали на печку.

«Здорово, Вий!» - сказал я про себя и посмотрел вниз, в дальний темный угол.

Весны-то мы кое-как дождались, а вот Райки у нас не стало… У меня и теперь не хватает духу рассказать все подробно. У нас уж в избе раскорячился теленочек - телочка! - цедил на соломенную подстилку тоненькую бесконечную струйку Мы ели картошку и запивали молочком.

Сена, конечно, не хватило. А уж вот-вот две недели - и выгонять пастись. Только бы эти две недели как-нибудь… Мама выпрашивала у кого-нибудь по малой вязанке, но чего там! Райке теперь много надо: у ней теперь молоко. И мы ее выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице: может, где клочок старого вытает или повезут возы на колхозную ферму и оставят на плетнях… Иногда оставляют на кольях по доброй горсти. Так она у нас и ходила. А где-то, видно, забрела в чужой двор, пристроилась к стожку… Стожки еще у многих стояли: у кого мужики в доме, или кто по блату достал воз, или кто купил, или… Бог их там знает. Поздно вечером Райка пришла к воротам, а у ней кишки из брюха висят, тащатся за ней: прокололи вилами.

Вот… Значит, надо ждать телочку, пока она вырастет. Назвали ее тоже Рая.

Жатва

Год, наверное, 1942-й. (Мне, стало быть, 13 лет.) Лето, страда. Жара несусветная. И нет никакой возможности спрятаться куда-нибудь от этой жары. Рубаха на спине накалилась и, повернешься, обжигает.

Мы жнем с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет 15-16, он сидит «на машине» - на жнейке (у нас говорили - жатка). Я - гусевым. Гусевым - это вот что: в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилины), а один, на длинной постромке, впереди, и на нем-то в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых - и, стало быть, машину - точно по срезу жнивья.

Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовет руками к себе); сзади стоячей полосой остается висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя все время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой травы и пыли - прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остается неподвижно висеть новая.

Жара жарой, но еще смертельно хочется спать: встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб - сбивает стеблями ржи паутов с ног. Сашка орет:

- Ванька, огрею!

Бичина у него длинный - может достать. Я потихоньку матерюсь, выравниваю коня… Но сон, чудовищный, желанный сон опять гнет меня к конской гриве, и сил моих не хватает бороться с ним.

- Ванька!.. - Сашка тоже матерится. - Я сам с сиденья валюсь! У меня у самого счас кровоизлияние мозга будет! Потерпи!

- Давай хоть пять минут поспим?! - предлагаю я.

- Еще три круга - и выпрягаем.

Три огромных круга!.. А машина стрекочет и стрекочет, и размерно шагает конь, и дергает повод, и фыркает, и на голову точно масленый блин положили, и горячее масло струйками стекает под рубаху, в штаны… Там, где сидишь в седле, мокро, все остальное раскалилось, тлеет.

- А, Сань?! А то упаду под жатку, вот увидишь!

Сашку допекло тоже; он еще немного хорохорится, поет песни, потом натягивает вожжи.

- Тр-р! Пять минут, Ванька! А то застукают.

Господи, да больше и не надо! Это и так вечность. Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь - на тот случай, если кони сами тронут, то чтоб не

переехало машиной - успеваю еще подумать про это… Потом горячая, пахучая земля приникла к лицу, прижалась; в ушах еще звон жнейки, но он скоро слабеет, над головой тихо прошуршали литые, медные колоски - и все. Мир звуков сомкнулся, я отбыл в мягкую, зыбучую тишину. Еще некоторое время все тело вроде слегка покачивается, как в седле, приятно гудит кровь, потом я бестелесно куда-то плыву и испытываю блаженство. Странно, я чувствую, как я сплю - сознательно, сладко сплю. Земля стремительно мчит меня на своей груди, а я - сплю, я знал это. Никогда больше в своей жизни я так не спал - так вот - целиком, вволю, через край.

Сколько мы спали, не знаю, только проснулся я вдруг, с ощущением близкой опасности; сразу как-то, как от толчка, всплыл из глубины небытия на поверхность… Кто-то кричал… Я вскочил. Нас все же застукали: сам председатель колхоза Иван Алексеич бегал по стерне за Сашкой, но так как одна нога у председателя деревянная, то догнать Сашку, конечно, он не мог, и только издали грозил плетью и ругался. Увидев меня, председатель кинулся было за мной, но я так дернул с места, что он сразу остановился.

- Контры! Вы мне ответите!.. Садитесь жать счас же!

- Отойди от жатки, тогда сядем. - Сашке, видно, попало разок председательской плетью - он почесывал спину.

- Счас же у меня садитесь! Вы што, под статью меня подвести хочете?!

- Отойди от жатки…

Председатель, ругаясь, пошел к своему легкому коробку, который стоял в стороне.

Опять заскрипела, заскрежетала жнейка, опять наладилось жечь солнце, но теперь на душе куда легче, даже весело: малость урвали.

Председатель еще постоял немного, посмотрел на нас и уехал.

Странный он был человек, Иван Алексеич, председатель. Эта нога его - это ему давно еще, молотилкой: хотел потуже вогнать сноп под барабан, и вместе со снопом туда задернуло ногу. Пока успели скинуть со шкива приводной ремень, ногу всю изодрало зубьями барабана, потом ее отняли выше колена. Мы его нисколько не боялись, нашего председателя, хоть он страшно ругался и иногда успевал жогнуть плетью. Мы не догадывались тогда, что народ мы еще довольно зеленый, вовсю ругались по-мужичьи, и с председателем - тоже. С нами было нелегко. Как я теперь понимаю, это был человек добродушный, большого терпения и совестливости. Он жил с нами на пашне, сам починял веревочную сбрую, длинно матерился при этом… Иногда с силой бросал чиненую-перечиненую шлею, топтал ее здоровой ногой и плакал от злости.

В тот день председатель здорово насмешил нас.

Съехались мы поздно вечером к бригадному дому, расселись кто где хлебать затируху (мелкие кусочки теста, крошки, сваренные в воде). Потом должно было быть собрание: у председателя много накопилось фактов нашего безобразного поведения: кто-то еще, кроме нас с Сашкой, спал на полосе, кто-то накануне, вечером, самовольно бегал домой в баню, кто-то, дожав клин, гонялся с бичом за перепелками - терял драгоценное время…

Председатель, пока мы ужинали, застелил красным сукном длинный стол под навесом, сидел один за столом, строго поглядывал в нашу сторону - ждал: предстояла «накачка».

Мы ополоснули чашки, закурили и приготовились слушать.

- Сегодня четыре оглоеда, - начал председатель, - спали на полосе. Это: Санька Кречетов, Илюха Чумазый, Ванька Попов и Васька-безотцовщина. Вы што, соображаете?! А этот верзила… Колька, я про тебя! - в баньку ему, вишь, захотелось!

(Колька, Моисеев внук, поймал у меня вчера на рубахе вшу и подговаривал вместе бежать вечером в деревню в баню, а к свету вернуться. Я отказался.) - Попариться

ему, вишь, захотелось, жеребцу! Дубина такая… Ты всю ночь-то пробегаешь туда-сюда, а днем - спать на полосе!

- Я не спал.

- Я посплю вам! Я вам посплю, дьяволы! Вы у меня ишо скирдовать в ночь будете.

Далеко, за лесом, медленно опускается в синие дымы большое красное солнце; хорошо на земле, задумчиво, покойно. Под председательским столом, свернувшись калачиком, мирно спит Борзя, наш бесконечно добрый, шалавый кобель.

Председатель никак не может разозлиться, вяло у него получается - никакого интереса. Мы клюем носами.

- Дальше: што это за моду взяли - перепелок стегать?! Живодеры… Первое: они всяких личинок уничтожают… Да время же теряете, черти! Пока ты ее догонишь да угодишь бичом - времени-то сколько уходит! Дальше: Ленька-японец наехал, сукин сын, на пенек, порвал пилу. Оглазел?! Скину вот трудодней пятнадцать, будешь вперед смотреть! Ехай счас прямо в кузню - штоб завтра, как только дед Макар проснется, пилу мне склепали.

Ленька-японец радешенек: дома побудет. Везет недомерку! Не нарочно ли на пень-то наехал? Но он хитрый, радости не показывает, а виновато хмурится.

- Дальше: еслив ишо кого увижу…

Тут-то нанесло нежданного: на дороге, из-за взгорка, показались дрожки уполномоченного - мы хорошо знали его жеребца. К нам едет.

Эх, как вскочил тут наш председатель (он ужасно боялся уполномоченного), да как застучал кулаком по столу, как закричал:

- Я давно уж замечаю среди вас контр… контр…

А деревяшкой своей председатель наступил Борзе на хвост; Борзя взвыл блажным голосом. Председателю надо перекричать собаку, он кричит:

- Давно уж я замечаю среди вас контрреволюционные элементы!

Собака воет, крутится под столом; председатель почему-то не может сойти с нее - то ли от волнения, то ли… Бог его знает. Добрый Борзя начал кусать деревяшку; мы корчимся от смеха: до того уморительная картина. (Потом, когда мы вспоминали эту историю, Ленька-японец сознался, что у него случилась тогда посикота - написал в штаны от смеха.) Уполномоченный подъехал. Глядит на нас, ничего не может понять. Председатель быстро пошел навстречу ему. Ошалевший Борзя с визгом вылетел из-под стола, кинулся бежать… Да прямо в ноги райкомовскому жеребцу. Красавец жеребец дико всхрапнул, дал в дыбы - чуть из хомута не вылез. Уполномоченный выскочил из коробка; председатель поскакал было на деревяшке за Борзей, потом вернулся, стал успокаивать жеребца.

Мы все лежали вповал. Мы тоже побаивались уполномоченного, но тут ничего не могли с собой сделать - умирали от смеха.

- В чем дело?! - строго спросил уполномоченный.

- Это… собрание у нас - насчет итогов, - пояснил Иван Алексеич. - С собакой маленько комедия вышла… - И закричал на нас: - Завтра же убрать этого блохастого!..

- Я вижу, что комедия, а не собрание. Может, рано веселиться-то?! - спросил у нас уполномоченный. - Может, наоборот, плакать надо?!

Мы постепенно затихли. Вот теперь, кажется, будет «накачка» настоящая. Но уполномоченный почему-то отменил собрание. Неожиданно добрым голосом сказал:

- Ладно: поработали, посмеялись - идите спать.

Спали мы в доме на нарах. Долго еще не могли успокоиться в тот вечер, вспоминали

Борзю, Ивана Алексеича, хохотали в подушки. Иван Алексеич беседовал у огонька с уполномоченным… Раза два он входил к нам и сердито шипел:

- Вы будете спать? Опять завтра не добудишься!.. Оглоеды. Хоть бы человека постеснялись.

Потом уполномоченный уехал.

Мы один за другим проваливаемся в сон…

Когда я - позже других, последним, наверно, - выхожу до ветра, уже светит луна и где-то близко вскрикивает ночная птица.

Председатель сидит у костра, тихонько звякает ложкой об алюминиевую чашку - хлебает затируху. Протез его отстегнут, лежит рядом… Худая култышка как-то неестественно белеет на траве. Иван Алексеевич часто склоняется и дует на нее - видно, до боли натрудил за день, теперь она, горячая, отдыхает.

А вокруг тепло и ясно; кто-то высоко-высоко золотыми гвоздями пришил к небу голубое полотно, и сквозь него сквозит, льется нескончаемым потоком чистый, голубовато-белый легкий свет.

И все вскрикивает в согре какая-то ночная птица - зовет, что ли, кого?

Бык

Одно время работал я на табачной плантации, на табачке, у нас говорили. Поливал табак.

Воду надо было возить из согры.

Как только солнце подымалось, мы запрягали в водовозки быков и весь день возили воду.

Бык у меня был на редкость упрямый и ленивый. Сбруя - веревочная, то и дело рвется. Едешь на взвоз, бык поднатужится - хомут пополам. А бык шагает дальше. А я с бочкой посередь дороги стою. Догоняю быка, заворачиваю, кое-как связываю хомут, запрягаю, и с грехом пополам выезжаем на взвоз. Несколько раз он меня переворачивал с бочкой. Идет, идет по дороге, потом ему почему-то захочется свернуть в сторону. Свернул - бочка набок. Я бил его чем попало. Бил и плакал от злости. Другие ребята по полтора трудодня в день зашибали, я едва трудодень выколачивал с таким быком.

Я бил его, а он спокойно стоял и смотрел на меня большими глупыми глазами. Мы ненавидели друг друга.

Один раз - после обеда - надо запрягать, моего быка нет. Бригадир Петрунька Яриков, косой маленький мужик, орет на меня:

- Куда же он у тебя девался-то, мать-перемать?! В землю, что ли, провалился?

Я ополекал все закоулки, все укромные места - нет быка. Ну, думаю, только бы мне найти тебя, змей, я тебе покажу Нашел в просе - лежит, отдувается в холодке. Я прямо с разбегу сапогом ему в морду. Как он мэкнет, как вскочит да как даст мне под зад! Я отлетел метра на три и подумал, что я уже мертвый. А он раскорячил ноги, нагнул голову и смотрит на меня. Я тоже смотрю на него. Мне показалось, что мы долго так смотрели друг на друга. Я боялся пошевелиться. Думаю, как с собакой: встанешь, он опять кинется. Потом все-таки потихоньку стал подниматься… Бык стоит. Смотрит. Я поднялся и пошел от него задом. Кое-как доковылял до бригады. Задница огнем горит… Хорошо, еще не рогом попал (они у него широченные, лбом угодил), - сидеть бы мне у него на голове, как снопу на вилах.

Бригадир разозлился на быка, вырвал из телеги железный курок и побежал в просо. Через пять минут видим, летит наш бригадир сломя голову, за ним бык. Бежит бригадир и орет:

- Стреляйте в него! Стреляйте, что вы стоите?! Спорет ведь он меня!..

Забыл с перепугу, что ружья ни у кого нет – у нас их позабирали, как началась война.

Ребятишки и бабы, увидев разъяренного быка, – кто куда, врассыпную. Я лежал на животе возле избушки. Бык протопал мимо – не обратил внимания. Видно, Петрунька с железным курком насолил ему здорово. Пробежал бык совсем близко, аж земля задрожала. У меня сердце в пятки ушло.

Петрунька туда – бык за ним, Петрунька сюда – бык за ним, гоняет его по ограде. Загнал в угол. Петрунька, как птица, взлетел на плетень – и на ту сторону. Бык, не останавливаясь, с ходу саданул рогами в плетень, вырвал его с кольями, и пронес, и сбросил. Тогда только остановился. Ему накинули волосяную петлю на шею, стянули, измучили, потом продели веревку в кольцо и привязали к столбу.

По давней традиции (она, как ни странно, сохранялась и в войну) после того, как табак уберут с плантации, высушат и свезут в город на табачную фабрику, бригада гуляет. Валили какую-нибудь скотину, варили, жарили… Привозили из деревни самогонку и – начиналось.

На этот раз забили моего быка. Трое мужиков взяли его и повели на чистую травку – неподалеку от избушки. Бык покорно шел за ними. А они несли кувалду, ножи, стираную холстину… Я убежал из бригады, чтобы не услышать, как он заревет. И все-таки я услышал, как он взревел – негромко, глухо, коротко, как вроде сказал: «Ой!» К горлу мне подступил горький комок; я вцепился руками в траву, стиснул зубы и зажмурился. Я видел его глаза… В тот момент, когда он, раскорячив ноги, стоял и смотрел на меня, повергнутого на землю, – пожалел он меня тогда, пожалел.

Мяса я не ел – не мог. И было обидно, что не могу как следует наесться – такой «рубон» нечасто бывает.

Самолет

Мы, четверо пацанов: Шуя, Жаренок, Ленька и я, шагаем с сундучками в гору. Поступаем в автомобильный техникум. Через три с половиной года будем техниками-механиками по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Техникум – в городе, точнее, за городом, километрах в семи, в бывшем монастыре. Идти надо обрывистым правым берегом широкой реки. Это мой второй приезд в этот город. Душа потихоньку болит – тревожно, охота домой. Однако надо выходить в люди. Не знал я тогда, что навсегда ухожу из родного села. То есть буду еще приезжать потом, но – так, отдышаться… Вот уж не знал!

Городские ребята не любили нас, деревенских, смеялись над нами, презирали. Называли «чертями» (кто черти, так это, по-моему, – они) и «рогалями». Что такое «рогаль», я по сей день не знаю и как-то лень узнавать. Наверно, тот же черт – рогатый. В четырнадцать лет презрение очень больно и ясно сознаешь и уже чувствуешь в себе кое-какую силенку – она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсадистый и хлесткий, закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел – только что не курлыкал. Жаренок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился – схватил нож… Тот, кто стоял против него – тоже с ножом, – очень удивился. И это-то – что он только удивился – толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться – мы защищались. Иногда – так вот – безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной.

Но это было потом. Тогда мы шли с сундучками в гору, и с нами вместе – налегке – городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.

– Чяво там, Ваня? Сальса шматок да мядку туясок?

– Сейчас раскошелитесь, черти! Все вытряхнем!

– Гроши-то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход!

Откуда она бралась, эта злость – такая осмысленная, не четырнадцатилетняя, обидная? Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то, о них думают, там – ничего, как хочешь, так выживай. Мы молчали, изумленные, подавленные столь открытой враждебностью. Проклятый сундучок, в

котором не было ни «мядку», ни «сальса», обжигал руку - так бы пустил его вниз с горы.

А на горе, когда поднялись, на ровном открытом месте стоял… самолет. Да так близко! Там был аэродром. И так он нежданно открылся, этот самолетик, так близко стоял, и никого рядом не было - можно подойти и потрогать… Раньше нам приходилось - редко - видеть самолет в небе. Когда он летел над селом, выскакивали из всех домов, шумели: «Где?! Где он?» Ах ты, Господи!.. Я так и ахнул. Да все мы слегка ошалели. И городские - тоже. Что уж, так каждый день видели они их, самолеты? Но они скоро взяли себя в руки, притворяшки.

- Кукурузник, сука.

- Сидит… Горючего, наверно, нет.

И пошли, не глядя больше на самолет.

Мы пошли за ними и тоже старались не смотреть на самолет: нельзя было показать, что мы - действительно такая уж совсем непролазная «деревня». А ничего же ведь не случилось бы, если бы мы маленько постояли, посмотрели. Но мы шли и не оглядывались. Когда я не выдержал и все-таки оглянулся, меня кто-то из наших крепко дернул за рукав.

Он мне, этот самолет, снился потом. Много раз после приходилось ходить горой, мимо аэродрома, но самолета там не было - он летал. И теперь он стоит у меня в глазах - большой, легкий, красивый… Двукрылый красавец из далекой-далекой сказки.

СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

«А что, мама? Тряхни стариной - приезжай. Москву поглядишь и вообще. Денег на дорогу вышлю. Только добирайся лучше самолетом - это дешевле станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, когда встречать. Главное, не трусь».

Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, задумалась.

- Зовет Павел-то к себе, - сказала она Шурке и поглядела на него поверх очков. (Шурка - внук бабки Маланьи, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь (третий раз вышла замуж), бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она любила внука, но держала его в строгости.)

Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами - поезжай, раз зовет.

- У тебя когда каникулы-то? - спросила бабка строго.

Шурка навострил уши.

- Какие? Зимние?

- Какие же еще, летние, что ль?

- С первого января. А что?

Бабка опять сделала губы трубочкой - задумалась.

А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце.

- А что? - еще раз спросил он.

- Ничего. Учи знай. - Бабка спрятала письмо в карман передника, оделась и вышла из избы.

Шурка подбежал к окну - посмотреть, куда она направилась.

У ворот бабка Маланья повстречала соседку и стала громко рассказывать:

- Зовет Павел-то в Москву погостить. Прямо не знаю, что делать. Прямо ума не

 приложу. «Приезжай, - говорит, - мама, шибко я по тебе соскучился».

Соседка что-то отвечала. Шурка не слышал, что, а бабка ей громко:

- Оно, знамо дело, можно бы. Внучат ни разу не видела еще, только по карточке. Да шибко уж страшно. Около них остановились еще две бабы, потом еще одна подошла, потом еще… Скоро вокруг бабки Маланьи собралось изрядно народа, и она снова и снова начинала рассказывать:

- Зовет Павел-то к себе, в Москву. Прямо не знаю, что делать…

Видно было, что все ей советуют ехать. Шурка сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку - такой же сухощавый, скуластенький, с такими же маленькими умными глазами. Но характеры у них были вовсе несхожие. Бабка - энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый.

Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писал, бабка диктовала.

- Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу, хотя мне на старости лет…

- Привет! - сказал Шурка. - Кто же так телеграммы пишет?

- А как надо, по-твоему?

- Приедем. Точка. Или так: приедем после Нового рода. Подпись: мама. Все.

Бабка даже обиделась.

- В шестой класс ходишь, Шурка, а понятия никакого. Надо же умнеть помаленьку!

Шурка тоже обиделся.

- Пожалуйста, - сказал он. - Мы так знаешь, на сколько напишем? Рублей на двадцать по старым деньгам.

Бабка сделала губы трубочкой, подумала.

- Ну, пиши так: сынок, я тут посоветовалась кое с кем…

Шурка отложил ручку.

- Я не могу так. Кому это интересно, что ты тут посоветовалась кое с кем? Нас на почте на смех поднимут.

- Пиши, как тебе говорят! - приказала бабка. - Что я, для сына двадцать рублей пожалею?

Шурка взял ручку и, снисходительно сморщившись, склонился к бумаге.

- Дорогой сынок Паша, поговорила я тут с соседями - все советуют ехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько…

- На почте все равно переделают, - вставил Шурка.

- Пусть только попробуют!

- Ты и знать не будешь.

- Пиши дальше: мне, конечно, боязно маленько, но уж… ладно. Приедем после Нового года. Точка. С Шуркой. Он уж теперь большой стал. Ничего, послушный парень.

Шурка пропустил эти слова - насчет того, что он стал большой и послушный.

- Мне с ним не так боязно будет. Пока до свиданья, сынок. Я сама об вас шибко…

Шурка написал: «жутко».

- …соскучилась. Ребятишек твоих хоть посмотрю. Точка. Мама.

- Посчитаем, - злорадно сказал Шурка и стал тыкать пером в слова и считать шепотом: - Раз, два, три, четыре…

Бабка стояла за его спиной, ждала.

- Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят! Так? Множим шестьдесят на тридцать - одна тыща восемьсот? Так? Делим на сто - имеем восемнадцать… На двадцать с чем-то рублей! - торжественно объявил Шурка.

Бабка забрала телеграмму и спрятала в карман.

- Сама на почту пойду. Ты тут насчитаешь, грамотей.

- Пожалуйста. То же самое будет. Может, на копейки какие-нибудь ошибся.

…Часов в одиннадцать к ним пришел Егор Лизунов - сосед, школьный завхоз. Бабка просила его домашних, чтобы, когда он вернется с работы, зашел к ней. Егор много ездил на своем веку, летал на самолетах.

Егор снял полушубок, шапку, пригладил заскорузлыми ладонями седеющие потные волосы, сел к столу. В горнице запахло сеном и сбруей.

- Значит, лететь хотите?

Бабка слазила под пол, достала четверть с медовухой.

- Лететь, Егор. Расскажи все по порядку - как и что.

- Так чего тут рассказывать-то? - Егор не жадно, как-то даже немножко снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво. - Доедете до города, там сядете на Бийск - Томск, доедете на нем до Новосибирска, а там опросите, где городская воздушная касса. А можно сразу до аэропорта ехать…

- Ты погоди! Заладил: можно, можно. Ты говори, как надо, а не как можно. Да помедленней. А то свалил все в кучу. - Бабка подставила Егору стакан с пивом, строго посмотрела на него.

Егор потрогал стакан пальцами, погладил.

- Ну, доедете, значит, до Новосибирска и сразу спрашивайте, как добраться до аэропорта. Запоминай, Шурка.

- Записывай, Шурка, - велела бабка.

Шурка вырвал из тетрадки чистый лист и стал записывать.

- Доедете до Толмачева, там опять спросите, где продают билеты до Москвы. Возьмете билеты, сядете на Ту-104 и через пять часов в Москве будете, в столице нашей Родины.

Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, горестно слушала Егора. Чем больше тот говорил и чем проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченнее становилось ее лицо.

- В Свердловске, правда, сделаете посадку…

- Зачем?

- Надо. Там нас не спрашивают. Сажают, и все. - Егор решил, что теперь можно и выпить. - Ну?.. За легкую дорогу.

- Держи. Нам в Свердловске-то надо самим попроситься, чтоб посадили, или там всех сажают? Егор выпил, смачно крякнул, разгладил усы.

- Всех… Хорошее у тебя пиво, Маланья Васильевна. Как ты его делаешь? Научила бы мою бабу… Вабка налила ему еще один стакан.

- Когда скупиться перестанете, тогда и пиво хорошее будет.

- Как это? - не понял Егор.

- Сахару побольше кладите. А то ведь вы вс» подешевле да посердитей стараетесь. Сахару побольше кладите в хмелину-то, вот и будет пиво. А на табаке его настаивать - это стыдоба.

- Да, - задумчиво сказал Егор. Поднял стакан, поглядел на бабку, на Шурку, выпил. - Да-а, - еще раз сказал он. - Так-то оно так, конечно. Но в Новосибирске когда будете, смотрите не оплошайте.

- А что?

- Да так… Все может быть. - Егор достал кисет, закурил, выпустил из-под усов громадное белое облако дыма. - Главное, конечно, когда приедете в Толмачево, не спутайте кассы. А то во Владивосток тоже можно улететь.

Бабка встревожилась и подставила Егору третий стакан.

Егор сразу его выпил, крякнул и стал развивать свою мысль:

- Бывает так, что подходит человек к восточной кассе и говорит: «Мне билет». А куда билет - это он не спросит. Ну и летит человек совсем в другую сторону. Так что смотрите.

Бабка налила Егору четвертый стакан. Егор совсем размяк. Говорил с удовольствием:

- На самолете лететь - это надо нервы да нервы! Вот он поднимается - тебе сразу конфетку дают…

- Конфетку?

- А как же. Мол, забудься, не обращай внимания… А на самом деле это самый опасный момент. Или тебе, допустим, говорят: «Привяжись ремнями». - «Зачем?» - «Так положено». - «Хэх… положено. Скажи прямо: можем навернуться, и все. А то - положено».

- Господи, господи! - сказала бабка. - Так зачем же и лететь-то на нем, если так…

- Ну, волков бояться - в лес не ходить. - Егор посмотрел на четверть с пивом.- Вообще реактивные, они, конечно, надежнее. Пропеллерный, тот может в любой момент сломаться - и пожалуйста… Потом: горят они часто, эти моторы. Я один раз летел из Владивостока… - Егор поудобнее устроился на стуле, закурил новую, опять посмотрел на четверть; бабка не пошевелилась. - Летим, значит, я смотрю в окно: горит…

- Свят, свят! - сказала бабка.

Шурка даже рот приоткрыл - слушал.

- Да. Ну, я, конечно, закричал. Прибежал летчик… Ну, в общем, ничего - отматерил меня. Чего ты, говорит, панику поднимаешь? Там горит, а ты не волнуйся, сиди… Такие порядки в этой авиации.

Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет сбивать его скоростью или сделает вынужденную посадку, а вместо этого он отругал Егора. Странно.

- Я одного не понимаю, - продолжал Егор, обращать к Шурке, - почему пассажирам парашютов не дают?

Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не даются парашюты. Это, конечно, странно, если это так.

Егор ткнул папироску в цветочный горшок, привстал, Налил сам из четверти.

- Ну и пиво у тебя, Маланья!

- Ты шибко-то не налегай - захмелеешь.

- Пиво, просто… - Егор покачал головой и выпил. - Кху! Но реактивные, те тоже опасные. Тот, если что сломалось, топором летит вниз. Тут уж сразу… И костей почом не соберут. Триста грамм от человека остается. Вместе с одеждой.

Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть. Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату. Егор посидел немного и встал. Его слегка качнуло.

- А вообще-то не бойтесь! - громко сказал он. - Садитесь только подальше от кабины - в хвост - и летите. Ну, пойду…

Он грузно прошел к двери, надел полушубок, шапку.

- Поклон Павлу Сергеевичу передавайте. Ну, пиво у тебя, Маланья! Просто…

Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел - не поговорили толком.

- Слабый ты какой-то стал, Егор.

- Устал, поэтому. - Егор снял с воротника полушубка соломинку. - Говорил нашим деятелям: давайте вывезем летом сено - нет! А сейчас, после этого бурана, дороги все позанесло. Весь день сегодня пластались, насилу к ближним стогам пробились. Да еще пиво у тебя такое… - Егор покачал головой, засмеялся. - Ну, пошел. Ничего, не робейте - летите. Садитесь только подальше от кабины. До свиданья.

- До свиданья, - сказал Шурка.

Егор вышел; слышно было, как он осторожно спустился с высокого крыльца, прошел по двору, скрипнул калиткой и на улице негромко запел:

Раскинулось море широко…
И замолчал.

Бабка задумчиво и горестно смотрела в темное окно. Шурка перечитывал, то, что записал за Егором.

- Страшно, Шурка, - сказала бабка.

- Летают же люди…

- Поедем лучше на поезде?

- На поезде - это как раз все мои каникулы на дорогу уйдут.

- Господи, господи! - вздохнула. бабка. - Давай писать Павлу. А телеграмму анулировоаем.

Шурка вырвал из тетрадки еще один лист.

- Значит, не полетим?

- Куда же лететь - страсть такая, батюшки мои! Соберут потом триста грамм…

Шурка задумался.

- Пиши: дорогой сынок Паша, посоветовалась я тут со знающими людями…

Шурка склонился к бумаге.

- Порассказали они нам, как летают на этих самолетах… И мы с Шуркой решили так: поедем уж летом на поезде. Оно, знамо, можно бы и теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы получается…

Шурка секунду-две помешкал и продолжал писать:

«А теперь, дядя Паша, это я пишу, от себя. Бабоньку напугал дядя Егор Лизунов, завхоз наш, если вы помните. Он, например, привел такой факт: он выглянул в окно и видит, что мотор горит. Если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается. Я предполагаю, что он увидел пламя из выхлопной трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабоньке, что это не страшно, но про меня - что это я вам написал - не пишите. А то и летом она тоже не поедет. Тут огород пойдет, свиннота разная, куры, гуси - она сроду от них не уедет. Мы же все-таки сельские жители еще. А мне ужасно охота Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии и по истории, но это, сами понимаете, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не даются парашюты. Это уже шантаж. Но бабонька верит. Пожалуйста, дядя Паша, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так вот вы ей и скажите: как же это так, мама, сын у вас сам летчик. Герой Советского Союза, много раз награжденный, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете! В то время, когда мы уже преодолели звуковой барьер. Напишите так, она вмиг полетит. Она же очень гордится вами. Конечно - заслуженно. Я лично тоже горжусь. Но мне ужасно охота глянуть на Москву. Ну, пока до свиданья. С приветом - Александр».

А бабка между тем диктовала:

- Поближе туда к осени поедем. Там и грибки пойдут, солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить, варенья сварить облепишного. В Москве-то ведь все в купли. Да и не сделают они так, как я по-домашнему сделаю. Вот так, сынок. Поклон жене своей и ребятишкам от меня и от Шурки. Все пока. Записал?

- Записал.

Бабка взяла лист, вложила в конверт и сама написала адрес:

«Москва, Ленинский проспект, д. 78, кв. 156.

Герою Советского Союза Любавину Павлу Игнатьевичу.

От матери его из Сибири».

Адрес она всегда подписывала сама: знала, что так дойдет вернее.

- Вот так. Не тоскуй, Шурка. Летом поедем.

- А я и не тоскую. Но ты все-таки помаленьку собирайся: возьмешь да надумаешь лететь.

Бабка посмотрела на внука и ничего не сказала.

Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала и шептала что-то.

Шурка тоже не спал. Думал. Много необыкновенного сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталось никогда.

- Шурк! - позвала бабка.

- А?

- Павла-то, наверно, в Кремль пускают?

- Наверно. А что?

- Побывать бы хоть разок там… посмотреть.

- Туда сейчас всех пускают.

Бабка некоторое время молчала.

- Так и пустили всех, - недоверчиво сказала она.

- Нам Николай Васильевич рассказывал.

Еще с минуту молчали.

- Но ты тоже, бабонька: где там смелая, а тут испугалась чего-то, - сказал Шурка недовольно. - Чего ты испугалась-то?

- Спи знай, - приказала бабка. - Храбрец. Сам первый в штаны наложишь.

- Спорим, что не испугаюсь?

- Спи знай. А то завтра в школу опять не добудишься.

Шурка затих.

РЫЖИЙ

Давно-давно это было! Так давно, что и вспоминать неохота, когда это было. Это было давно и прекрасно. Весна была - вот что стоит в памяти, как будто это было вчера.

Ехал я по Чуйскому тракту из Онгудая домой, в Сростки. В Онгудае я жил с месяц у дяди Павла, крестного моего, бухгалтера… Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка: не выучиться ли мне на бухгалтера? Стало быть, мне лет 12-13, потому что когда мне стало 14, нас обуяла другая мысль: выучиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль: на кого бы мне выучиться?

Насчет бухгалтера ничего не вышло: крестный отказался учить. Я этому очень обрадовался, потому что хотел сам сбежать домой… Почему-то я очень любил свою деревню. Пожил с месяц на стороне и прямо измучился: деревня снится, дом родной, мать… Тревожно на душе, нехорошо.

И вот ехал домой. Сердце петухом поет - славно! Я знал: ругать меня не за что (бухгалтерия совершенно искренне не полезла в голову, о чем крестный и писал маме, и я это письмо вез), а скоро будет - из-за горы откроется - моя деревня.

Из Онгудая к Сросткам - это ехать с гор, вниз, в предгорье, километров триста. Крестный в Онгудае посадил меня на ЗИС-5 к рыжему шоферу, заранее отдал деньги - и я ехал себе. Путь-то вон какой!.. От одной езды сердце замирало от радости. А тут мы еще где-то останавливались на ночевку, в какой-то избе, я спал на просторных полатях, где пахло овчиной, мукой и луком, слушал всякие разговоры внизу… Люблю слушать чужие разговоры, всегда любил. Слушал-слушал и уснул. А утром, чуть свет, меня разбудил мой рыжий шофер, и мы поехали по свежачку. Я зевал, рыжий тоже позевывал… Было ему лет тридцать, крепкий, весь рыжий-рыжий, а глаза голубые. В дороге он все время молчал. Только зевнет, смешно заматерится - протяжно как-то, нараспев - и опять молчит. А я себе смотрел во все глаза, как яснеет, летит навстречу нам огромный, распахнутый, горный день… Ах, и прекрасно же ехать! И прекрасна моя родина - Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно, ею и надышаться-то нельзя: все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором. И не пугали меня никогда эти горы, хоть наверху на них - голо, снег… Мне милее пашня, но не ровная долина, а с увалами, с гривами, с откосами. Но и горы, и снег этот на вершинах, когда внизу зелено, - никогда чуждыми не были, а только еще милей и теплей здесь, внизу.

Едем…

Навстречу нам такой же грузовичок ЗИС-5 (их потом, когда они уже уходили из жизни, ласково звали «Захар» или «Захарыч», они славно поработали). Рыжий чуть отклонился на тракте правее, а тот, встречный, дует посередке почти… Рыжий

несколько встревожился, еще поджался правее, к самой бровке, а встречный - нахально посередке. Рыжий удивленно уставился вперед… Я от его взгляда и встревожился-то: я сперва не понял, что нам грозит опасность. А опасность летела навстречу нам… Рыжий сбавил скорость и неотступным, немигающим, оцепенелым каким-то взглядом следил, как приближается этот встречный дурак. Тот - перед самым носом у нас - свильнул, но все равно нас крепко толкнуло, и раздался омерзительный, жуткий треск…

Я больше испугался этого треска, чем толчка, до сих пор помню этот треск: резкий, сухой, мгновенный… Как-то от него, от этого треска, толкнулось в сознании, что беда, может, смерть… Но тут же все пронеслось - ни смерти, ни беды большой. Рыжий остановился, вылез из кабины… И я тоже вылез. У нас - со стороны руля - отворотило угол кузова, причем угол, который у кабины. Тот, видно, задком шваркнул нас, и ему меньше досталось, потому что для него это получилось - на прощание, с потягом, а для нас удар - встречный: угла как не бывало, верхнего. Тот, видно, крюками саданул, какими борт захлестывается. Мы посмотрели вслед этому полудурку - тот себе катит как ни в чем не бывало. Рыжий быстро вскочил в кабину… Крикнул мне: «Садись!» Я мигом очутился в кабине… Рыжий развернулся и помчался вдогон тому, который ни с того ни с сего угостил нас. Вот мы летели-то!.. Рыжий опять неотступно, не мигая - вообще-то страшновато - смотрел вперед, чуть склонился к рулю. И страшновато, и красиво - я смотрел то на рыжего, то на машину впереди. Расстояние между машинами сокращалось. Рыжий не сказал ни слова… Он только раз или два пошевелился от нетерпения. Я понял, что он хочет сделать, тоже припечатать этому, кузовом же, я слышал, так делают шоферы: за нахальство и наглость. Но когда мы догоняли, я вдруг вспомнил, что там же их в кабине двое сидело, два мужика. Я сказал рыжему:

- Их там двое…

Рыжий чуть шевельнул головой на мой голос, но как смотрел вперед, так и смотрел, скорости не сбавил… Он, конечно, услышал мои слова, но я не увидел, чтобы он о чем-нибудь таком подумал, кроме как: во что бы то ни стало догнать. Это и было в его взгляде, во всей его склоненной фигуре - догнать. Его нетерпение и мне передалось, я тоже вцепился в ручку дверцы и тоже весь напружинился - тоже вдруг всего целиком охватило одно единое желание: скорей догнать и шваркнуть.

Тот по-прежнему чухал серединой тракта… Мы повисли у него на задке, рыжий стал гудеть, прося дороги. Он еще раз пошевелился, последний раз, глотнул… И гудел, и гудел беспрерывно. Синие глаза его прямо полыхали нетерпением, кричали прямо… Горели ясным синим огнем. Он слился с рулем, правым локтем придавил этот большой черный пупок сигнала - и гудел, и гудел.

Долго тот не давал нам дороги… Наконец, видим, пошел уклоняться вправо. Рыжий прямо лег на руль… И мы стали медленно их обходить. Рядом со мной - близко, рукой можно достать - прыгал враждебный нам кузов… И он, качаясь и подпрыгивая, тихонько отставал и отставал… Я уже стал видеть лицо того нахала: молодой тоже, моложе рыжего, скуластый, в серой фуражке… Покосился на нас, несколько назад… Потом мы с ним сравнялись, я-то вовсе рядом оказался. Сердце мое как будто кто в кулаке сжал… Тот, в фуражке, посмотрел на нас, скорей так: через меня на рыжего… И я понял, что он не узнал, что именно нам он сделал такую бяку. Я поразительно близко видел его лицо: широкое, в скулах, никакое не злое, несколько даже курносое… Он, по-моему, досадовал и несколько был удивлен, что его обгоняют - и только. Никак уж, наверно, не ждал он, что его догнала расплата за его хулиганство.

Мы стали уже обходить ЗИС, этот, в кепке, уже остался чуть сзади. Их, правда, двое было в кабине, но второго я совершенно не помню - я его, наверно, не видел: до того интересно было смотреть на скуластого.

Мы почти обогнали, ехали серединой… И тут рыжий сделал так: дал вправо, потом резко влево и тормознул. Нас кинуло вперед… Опять этот ужасный треск… Опять мимо пронеслось нечто темное, жуткое, обдав грохотом беды и смерти… И мы стали вовсе: рыжий подрулил вправо к обочине, как и положено, взял длинную заводную ручку и вылез из кабины. Но тот, с висячим уже бортом, не остановился. Рыжий подождал-подождал, залез опять в кабину, развернулся, и мы поехали своей дорогой. Рыжий был спокоен, ничего не сказал по поводу того, что… Он ехал и ехал. Пару раз выглядывал из кабины и смотрел коротко на искореженный угол

борта.

Я же почему-то принялся думать так: нет, жить надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить - серьезно. Я очень уважал рыжего.

С тех пор я нет-нет ловлю себя на том, что присматриваюсь к рыжим: какой-то это особенный народ, со своей какой-то затаенной, серьезной глубинкой в душе… Очень они мне нравятся. Не все, конечно, но вот такие вот - молчаливые, спокойные, настырные… Такого не враз сшибешь. И зубы ему не заговоришь - он свое сделает.

КОСМОС, НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ШМАТ САЛА

Старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал. Раз в месяц - с пенсии - Евстигнеич аккуратно напивался и после этого три дня лежал в лежку. Матерился в бога.

- Как черти копытьями толкут, в господа мать. Кончаюсь…

За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеича, учил уроки.

- Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в бога душу мать!..

- Не надо было напиваться.

- Молодой ишо рассуждать про это.

Пауза. Юрка поскрипывает пером.

Старику охота поговорить - все малость полегче.

- А чо же мне делать, если не напиться? Должен я хоть раз в месяц отметиться…

- Зачем?

- Што я не человек, што ли?

- Хм… Рассуждения, как при крепостном праве. - Юрка откинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хозяина. - Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

- А ты откуда знаешь про крепостное время-то? - Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит, - Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка.

- Проходили.

- Учителя, што ли, рассказывали?

- Но.

- А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.

- В книгах.

- В книгах… А они случайно не знают, отчего человек с похмелья хворает?

- Травление организма: сивушное масло.

- Где масло? В водке?

- Но.

Евстигнеичу хоть тошно, но он невольно усмехается:

- Доучились.

- Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу…Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватил руками голову.

- О-о… опять накатило! Все, конец…

- Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег, Он вообще скряга отменный. Живет справно, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет - сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди… Кадки, кадушки, туески, бочонки - целый склад, В кладовке полтора куля доброй муки, окорок висит пуда на полтора. В огороде яма картошки, тоже еще прошлогодней, он скармливает ее боровам, уткам и курицам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день, до темноты, возится по хозяйству. Часто спускается в погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. «Черти драные. Тут ли счас не жить» - думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город.

У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет. А у матери кроме него еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт. В медицинский.

Старик вроде не замечает Юркиной бедности, берет с него пять рублей в месяц. А варят - старик себе отдельно, Юрка себе. Иногда, к концу месяца, у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот всухомятку ест хлеб. Потом спрашивает:

- Все вышло?

- Ага.

- Я дам… апосля привезешь.

- Давай.

Старик отвешивает на безмене килограмм-два пшена, и Юрка варит себе кашу. По утрам беседуют у печки.

- Все же охота доучиться?

- Охота. Хирургом буду.

- Сколько ишо?

- Восемь. Потому что в медицинском - шесть, а не пять, как в остальных.

- Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет сэстоль?

- На стипендию. Учатся ребята… У нас из деревни двое так учатся.

Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей.

- Чо эт вас так шибко в город-то тянет?

- Учиться… «Что тянет». А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне.

- Што, они много шибко получают, што ль?

- Кто? Хирурги?

- Но.

- Наоборот, им мало плотят. Меньше всех. Сейчас прибавили, правда, но все равно…

- Дак на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет? Иди на шофера выучись да работай. Они вон по скольку зашибают! Да ишо приворовывают: где лесишко кому подкинет, где сена привезет совхозного - деньги. И матери бы помог. У ей вить ишо трое на руках.

Юрка молчит некоторое время. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери… Накипает раздражение против старика.

- Проживем, - резко говорит он. - Никому до этого не касается.

- Знамо дело, - соглашается старик. - Сбили вас с толку этим ученьем - вот и мотаетесь по белому свету, как… - Он не подберет подходящего слова - как кто. - Жили раньше без всякого ученья - ничего, бог миловал: без хлебушка не сидели.

- У вас только одно на уме: раньше!

- А то… ирапланов понаделали-дерьма-то.

- А тебе больше глянется на телеге?

- А чем плохо на телеге? Я если поехал, так знаю: худо-бедно доеду. А ты навернесся с этого свово ираплана - костей не соберут.

И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться - он потом целый день молчит; Юрка же, хоть и раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение оттого, что вступается за Новое - за аэропланы, учение, город, книги, кино…

Странно, но старик в бога тоже не верит.

- Делать нечего - и начинают заполошничать, кликуши, - говорит он про верующих. - Робить надо, вот и благодать настанет.

Но работать - это значит только для себя, на своей пашне, на своем огороде. Как раньше. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку - кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах.

- У тебя какой-то кулацкий уклон, дед, - сказал однажды Юрка в сердцах. Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно:

- Ставай, пролятый заклеменный!.. - И высморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил: Ты ба, наверно, комиссаром у их был. Тогда молодые были комиссарами.

Юрке это польстило.

- Не пролятый, а - проклятьем, - поправил он.

- Насчет уклона-то… смотри не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть.

- Нужно мне.

Частенько возвращались к теме о боге.

- Чего у вас говорят про его?

- Про кого?

- Про бога-то.

- Да ничего не говорят - нету его.

- А почему тогда столько людей молятся?

- А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь.

- Сравнил! Я - матерюсь.

- Все равно - в бога.

Старик в затруднении.

- Я, што ли, один так лаюсь? Раз его все споминают, стало быть, и мне можно.

- Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.

- Отлегло малость, в креста мать, - говорит старик. - Прямо в голове все помутнело.

Юрка не хочет больше разговаривать - надо выучить уроки.

- Про кого счас проходишь?

- Астрономию, - коротко и суховато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.

- Это про што?

- Космос. Куда наши космонавты летают.

- Гагарин-то?

- Не один Гагарин… Много уж.

- А чего они туда летают? Зачем?

- Привет! - воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула. Ну, ты даешь. А что они, будут лучше на печке лежать?

- Што ты привязался с этой печкой? - обиделся старик. - Доживи до моих годов, тогда вякай.

- Я же не в обиду тебе говорю. Но спрашивать: зачем люди в космос летают? - это я тебе скажу…

- Ну и растолкуй. Для чего же тебя учат? Штоб ты на стариков злился?

- Ну во-первых: освоение космоса-это… надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время - долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно доглядеть на них?..

- Они такие же, как мы?

- Этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не такая - больше давит.

- Ишо драться кинутся.

- За что?

- Ну, скажут: зачем прилетели? - Старик заинтересован рассказом. Непрошеный гость хуже татарина.

- Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее - может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим… - Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе. - Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю! А их, может, миллионы! И везде живут существа. И мы будем летать друг к другу… И получится такое… мировое человечество. Все будем одинаковые.

- Жениться, што ли, друг на дружке будете?

- Я говорю - в смысле образования! Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое царство божие, которое религия называет - рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки - пожалуйста, включил видеоприемник, настроился на определенную волну - они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить - лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет - и через какое-то время икс ты у дочери… А внук… ему сколько?

- Восьмой, однако.

- Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до ста - ста двадцати лет жить.

- Ну, это уж ты… приврал.

- Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет-это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по Галактике.

- А сами-то не можете - чтоб на сто двадцать?

- Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем сто двадцать лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до Галактики. И возможно, там этот процесс уже решен: открыто какое-нибудь лекарство…

- Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

- Ты не захочешь, а другие - с радостью. Будет такое средство…

- «Средство»… Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство - и то ладно. А то башка, как этот… как бачок из-под самогона.

- Не надо пить.

- Пошел ты!..

Замолчали.

Юрка сел за учебники.

- У вас только одно на языке: «будет! будет!..» - опять начал старик, - Трепачи. Ты вот - шешнадцать лет будешь учиться, а начнет человек помирать, чего ты ему сделаешь?

- Вырежу чего-нибудь.

- Дак если ему срок подошел помирать, чего ты ему вырежешь?

- Я на такие… дремучие вопросы не отвечаю.

- Нечего отвечать, вот и не отвечаете.

- Нечего?.. А вот эти люди!.. - сгреб кучу книг и показал, - Вот этим людям тоже нечего отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

- Там читать нечего - вранье одно.

- Ладно! - Юрка вскочил и опять начал ходить по избе. - Чума раньше была?

- Холера?

- Ну, холера.

- Была. У нас в двадцать…

- Где она сейчас? Есть?

- Не приведи господи! Может, будет ишо…

- В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше: если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?

- Сбесился бы.

- И помер. А сейчас - сорок уколов, и вер. Человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас, пожалуйста: полгода - и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые! «Вранье»… Хоть бы уж помалкивали, если не понимаете.

Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.

- Так. Допустим. Собака - это ладно, А вот змея укусит?.. Иде они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет - и как рукой сымет. А вить она институтов никаких не кончала.

- Укус был не смертельный. Вот и все.

- Иди подставь: пусть она разок чикнет куда-нибудь…

- Пожалуйста! Я до этого укол сделаю, и пусть кусает сколько влезет - я только улыбнусть.

- Хвастунишка.

- Да вот же они, во-от! - Юрка опять показал книги. - Люди на себе проверяли! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает.

- Как это?

- Так. «Вот, - говорит, - сейчас у меня холодеют ноги записывайте». Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит: «Руки отнялись».

- Они пишут?

- Пишут, Потом сердце стало останавливаться, он говорит: «Пишите». Они плакали и писали, - У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.

- Ну?..

- И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими вашими бабками еще бы тыщу лет в темноте жили… «Раньше было! Раньше было!..» Вот так было раньше?! Юрка подошел к розетке, включил радио. Пела певица. - Где она? Ее же нет здесь!

- Кого?

- Этой… кто поет-то.

- Дак это по проводам…

- Это - радиоволны! «По проводам». По проводам - это у нас здесь, в деревне, только. А она, может, где-нибудь на Сахалине поет - что, туда провода протянуты?

- Провода. Я в прошлом годе ездил к Ваньке, видал: вдоль железной дороги провода висят.

Юрка махнул рукой:

- Тебе не втолковать. Мне надо уроки учить. Все.

- Ну и учи.

- А ты меня отрываешь. - Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать.

Долго в избе было тихо.

- Он есть на карточке? - спросил старик.

- Кто?

- Тот ученый, помирал-то который.

- Академик Павлов? Вот он.

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.

- Старенький уж был.

- Он был до старости лет бодрый и не напивался, как… некоторые. Юрка отнял книгу. - И не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать!.. Нервная система - это же его учение. Почему ты сейчас хвораешь?

- С похмелья, я без Павлова знаю.

- С похмелья-то с похмелья, но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил, а сегодня она… распрямляется. А у тебя уж условный рефлекс выработался: как пенсия, так обязательно пол-литра. Ты уже не можешь без этого, - Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказывать старику весь вред и все последствия его выпивок. Старик слушал. - Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте. Пошел домой… И ноги у тебя сами поворачивают в сельмаг. А ты возьми пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.

- Я хуже маяться буду.

- Раз помаешься, два, три - потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.

Старик привстал, свернул трясущимися пальцами цигарку, прикурил. Затянулся и закашлялся.

- Ох, мать твою… Кхох!.. Аж выворачивает всего. Это ж надо так!

Юрка сел опять за учебники.

Старик кряхтя слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы. «Куда это он?» - подумал Юрка.

Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, нес в руках шмат сала в ладонь величиной.

- Хлеб-то есть? - спросил строго.

- Есть. А что?

- На, поешь с салом, а то загнесся загодя со своими академиками… пока их изучишь всех.

Юрка даже растерялся.

- Мне же нечем отдавать будет - у нас нету…

- Ешь. Там чайник в печке - ишо горячий, наверно… Поешь.

Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть. Старик с трудом залез опять на печь и смотрел оттуда на

Юрку.

- Как сало-то?

- Вери вел! Первый сорт.

- Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни сдуру начинают ее напичкивать осенью - получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот - маринуют: дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют: ни мяса, ни сала. А ее надо так: недельку покормить как следовает, потом подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать… Вот оно тогда будет слоями: слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь…

Юрка слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное.

- Ох, здорово! Спасибо.

- Наелся?

- Ага. - Юрка убрал со стола хлеб, чайник. Сало еще осталось. - А это куда?

- Вынеси в сени, на кадушку. Вечером ишо поешь.

Юрка вынес сало в сенцы. Вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело:

- Теперь голова лучше будет соображать… А то… это… сидишь маленько кружится.

- Ну вот, - сказал довольный дед, укладываясь опять на спину. - Ох, мать твою в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

- Может, я пойду куплю четвертинку! - предложил Юрка.

Дед помолчал.

- Ладно… пройдет так. Потом, попозже, курям посыплешь да коровенке на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь!

- Ладно. Значит, так: что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее… галопом. - Юрке сделалось весело: поел хорошо, уроки почти готовы - вечером можно на лыжах покататься.

- А у его чего же родных-то никого, што ли, не было? - спросил вдруг старик.

- У кого? - не понял Юрка.

- У того академика-то. Одни студенты стояли?

- У Павлова-то? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

- Дети-то были, поди?

- Наверно. Завтра узнаю.

- Были, конешно. Никого если бы не было родных-то, не много надиктуешь. Одному-то плохо.

Юрка не стал возражать. Можно было сказать: а студенты-то! Но он не стал говорить.

- Конечно, - согласился он. - Одному плохо.

ДЯДЯ ЕРМОЛАЙ

Вспоминаю из детства один случай.

Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо - синим-сине, и уж дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил.

- Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей, - ему охота было домолотить скирду. Но… все уж собирались, и он скрепя сердце тоже стал собираться.

До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, густая синева небесная наползла, но дождя не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль… Во мгле трепетно вспыхивали молнии и гремел гром. Ветер рвал, носил, а дождя не было.

- Самая воровская ночь, - сказал дядя Ермолай. - Ну-ка, Гришка… - дядя Ермолай поискал глазами, я попался ему, - Гришка с Васькой, идите на точок - там ночуете. А то как бы в такую-то ночку не подъехал кто да не нагреб зерна. Ночь-то… самая такая.

Мы с Гришкой пошли на ток.

Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю: вспыхивало и гремело со всех сторон! Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым - резко, горько. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь.

Когда вверху вспыхивало, все на земле - скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони, - все как будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала все; сверху гремело гулко, уступами, как будто огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались и прыгали.

Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит: опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем, резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотало.

- Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем, - предложил Гришка.

- Давай, конечно.

- А утром скажем, что ночевали на точке, кто узнает?!

Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому. Поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше… И не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь.

Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом.

- Ну, караульщики, - спросил дядя Ермолай, увидев нас, мне показалось, что он смотрит пытливо. - Как ночевали?

- Хорошо.

- Все там в порядке? На точке-то?

- Все в порядке. А что?

- Ничего. Спрашиваю… Я посылал, я и спрашиваю. «А что?», - а сам все смотрит.

Мне стало не по себе.

- Зерно-то целое?

- Целое, - у Гришки круглые, ясные глаза; он смотрит не мигая. - А что?

- Да вы были там?! На точке-то?

У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся… Хлоп-хлоп глазами.

- Как это «были»?..

- Ну да, были вы там?

- Были. А где же мы были?

Эх, тут дядя Ермолай взвился:

- Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под суслоном ночевали, а говорите - на точке! Сгребу вот счас обоих да носом - в точок-то, носом, как котов пакостливых. Где ночевали?

- От… Ты чо?

- Где ночевали?!

- На точке, - Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.

- Васька, где ночевали?

- На точке.

- Да растудыт вашу туда-суда и в ребра!.. - дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. - Ты гляди, что они вытворяют-то! Да не было вас на току, не было-о! Я ж был там! Ну?! Обормоты вы такие, обормоты! Я ж следом за вами пошел туда - думаю, дошли ли они хоть? Не было вас там!

Это нас не смутило - что он, оказывается, был на току.

- Ну и что?

- Что?

- Ну и… мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже… Мы блудили.

- Где попозже?! - взвизгнул дядя Ермолай. - Где попозже-то?! Я там весь дождь переждал! Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там!

- Были…

Дядя Ермолай ошалел… Может быть, мы - в глазах его - тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони - отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.

- Были?

- Были.

Он схватил узду… Мы - в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.

- Обормоты, - говорил он на ходу. - Не были же, не были - и в глаза врут стоят. Штыбы бы вам околеть, не доживая веку! Штыбы бы вам… жены злые попались!.. Обормоты. В глаза врут стоят - и хоть бы что! О!.. - дядя Ермолай повернулся к нам. - Да ты скажи честно: испужались, можеть, не нашли - нет, в глаза смотрют и врут. Обормоты… По пять трудодней снимаю, раз вы такие.

Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.

- Гришка, Васьк… сознайтесь: не были на точке? По пять трудодней не сниму. Не были же?

- Были.

Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас… Потом позвал с собой.

- Идите суда… Идите, идите. Вот тут вот я от дождя прятался, - показал. И посмотрел на нас с мольбой: - А вы где же прятались?

- А мы - с той стороны.

- С какой?

- Ну, с той.

- Да где же с той-то?! Где с той-то? - он опять стал терять терпение. - Я же шумел вас, звал!.. Я ее кругом всю обошел, скирду-то. А молонья такая резала, что тут не то что людей, иголку на земле найдешь. Где были-то?

- Тут.

Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтоб опять не взвиться. Опять сморщился…

- Ну, ладно, ладно… Вы, можеть, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите: где ночевали? Не скину по пять трудодней… Где ночевали?

- На току.

- Да где на току-то!! - сорвался дядя Ермолай. - Где на току-то?! Где, когда я… У-у, обормоты! - он запекал глазами - чем бы огреть нас.

Мы убежали.

Дядя Ермолай ушел за скирду… Опять, наверно, всплакнул.

Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте: «Емельянов Ермолай …вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю - стою над могилой, думаю. И дума моя о нем - простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или - не было никакого смысла, а была одна работа, работа… Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей… Вовсе не лодырей, нет, но… свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://shukshinvasiliy.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!